UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 01152461 8

X188
OP 8022

This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1964

Глубокоуважаемому Николаю Иванови
Карѣеву
въ знакъ памяти и благодарности
авторъ

ПУШКИНИСТЪ.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

подъ редакціей профессора С. А. Венгерова.

Х-188
ОР. 8022

II.

ПЕТРОГРАДЪ.
Фототипія и Типографія А. Ф. Дресслера, В. О., 2 линія, 43.
1916.

PG
3358
H5E64

LIBRARY
MAR 15 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

967926

S Law 4350.4.994

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 29, 1938

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Предисловіе *С. А. Венгерова* . . . . . V – XVI

Доклады.

II. Историзмъ Пушкина. Къ вопросу о характерѣ пушкинскаго объективизма. *Бориса Энгельгардта* . . . . . 1—158

III. Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творчествѣ Пушкина. *А. А. Тамамшева* . . . . 159—203

IV. Пушкинъ и французская юмористическая поэзія XVIII вѣка. *Александра Попова* . . 204—257

V. Программа драмы А. С. Пушкина о паписсѣ Іоаннѣ. Къ исторіи недовершеннаго замысла. *Юліана Оксмана* . . . . . 258—268

Лѣтопись Пушкинскихъ семинаріевъ.

VI. Списокъ участницъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскихъ Высшихъ (Бестужевскихъ) женскихъ курсахъ (1910—1915) . . 272—279

VII. Списокъ рефератовъ, прочтенныхъ участницами Пушкинскаго Семинарія при Петроградскихъ Высшихъ (Бестужевскихъ) женскихъ курсахъ . . . . . 280—281

VIII. Пушкинскій Семинарій при Психо-Неврологическомъ Институтѣ (съ 1910 — 1914 г.) *А. Полякова* . . . . . 282—286

IX. Лѣтопись занятій въ Пушкинскомъ Семинаріи при Петроградскомъ Университетѣ . 287—289

X. Второй списокъ участниковъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскомъ Университетѣ . . . . . 290—292

Предисловіе.

По обстоятельствамъ техническаго свойства, II томъ „Пушкиниста", законченный наборомъ статей еще весною прошлаго года выходитъ въ свѣтъ только въ началѣ текущаго. Онъ изданъ по той-же программѣ, которая была изложена въ первомъ „Пушкинистѣ" и со включеніемъ трехъ статей—г.г. Бориса Энгельгардта, Тамамшева и Александра Попова, въ этой программѣ уже намѣченныхъ. Четвертая статья—Юліана Оксмана, прочитана въ университетскомъ семинаріи позднѣе.

Остальныя статьи, намѣченныя въ программѣ, а также рядъ новыхъ, вполнѣ уже приготовленныхъ къ печати, появятся въ слѣдующихъ томахъ „Пушкиниста", если, конечно, нашей попыткѣ создать органъ молодыхъ научныхъ силъ не суждено заглохнуть.

Извѣстныя основанія надѣяться, что „Пушкинистъ" не заглохнетъ, кажется, имѣются. Вызвавъ нѣкоторыя возраженія принципіальнаго характера, — къ нимъ, вѣроятно, придется вернуться по поводу дальнѣйшихъ этаповъ составленія Пушкинскаго словаря - - сборникъ, въ общемъ, былъ встрѣченъ критикою привѣтливо *). А принимая во вниманіе спеціальный характеръ сборника, можно констатировать, что и публика проявила интересъ къ „Пушкинисту". Первый томъ напеча-

*) Мнѣ извѣстны слѣдующіе отзывы:

1) *И. К.*, въ „Правит. Вѣст." 1914, № 68. 2) „Вѣст. Евр." 1914, № 5. библіогр. листокъ. 3) *Валерій Брюсовъ*, „Рус. Вѣд." 1914, № 99. 4) „Голосъ Москвы" 1914, № 101. 5) *Е. К. (Колтоновская)*, „Рѣчь" 1914, № 134.

танъ въ количествѣ 1000 экз., и изъ нихъ продано около 600, такъ что издержки печатанія почти покрыты. Хочется думать, что II томъ встрѣтитъ не худшее къ себѣ отношеніе и что органъ молодыхъ пушкинистовъ окрѣпнетъ окончательно. Къ печатанію III-го „Пушкиниста", во всякомъ случаѣ, будетъ приступлено немедленно послѣ выхода настоящаго тома.

I.

Первая изъ статей II тома — обширная работа *Бориса Энгельгардта* стремится установить схему эволюціи міроотношенія Пушкина. Она сводитъ это міроотношеніе къ постепенному наростанію въ Пушкинѣ *„историзма"*, т. е. особенно-живого чувства дѣйствительности. И такое опредѣленіе даетъ нѣчто болѣе общее, чѣмъ обычныя попытки характеризовать міросозерцаніе Пушкина чисто-литературнымъ понятіемъ *реализмъ* или очень уже эллинистически-звучащимъ словомъ *гармоничность*.

Вдумчивый, широко-поставленный анализъ молодого изслѣдователя приводитъ его къ слѣдующимъ основнымъ положеніямъ, такъ имъ формулированнымъ для настоящаго предисловія:

„Жизнь всякаго творческаго сознанія начинается и заканчивается въ противополаганіи себя міру и въ томъ или иномъ разрѣшеніи возникающихъ отсюда дисгармоній.

И какъ только юноша Пушкинъ освободился отъ внѣшняго и случайнаго успокоенія въ поверхностномъ эпикуреизмѣ, проблема взаимоотношенія *„я"* и „внѣшняго" міра стала на

---

6) „Южная Мысль" 1914, № 859. 7) *С. Ш. (Штрайхъ)*, „Приазов. Край" 1914, № отъ 2 іюня. 8) „Кіев. Мысль" 1914, № 86. 9) „Рѣчь" 1914, № 76. 10) „Извѣстія Вольфа" 1914, № 5. 11) *Н. Б.*, „Рус. Школа" 1914, № 5—6. 12) *Б. Эйхенбаумъ*, Новое въ области „Пушкинизма", „Рус. Мысль" 1914, № 7. 13) *(А. Горнфельдъ)*. „Рус. Бог." 1914, № 7. 14) „Новая Жизнь" (Харбинъ), 1914, № 146. 15) *М. С.*, „Столич. Молва" (Москва) 1914, № 376. 16) *Ю. С—въ*, „Новая Жизнь" 1914, № 6) *Н. Кашинъ*, „Вѣст. Евр." 1914, № 8. 18) *Ив. Розановъ*, въ „Голосѣ Минувшаго" 1915, № 6. 19) *Фатовъ*, въ „Вѣст. Воспит." 1915, № 20) «Рус. Библіофилъ» 1914, № 5.

очередь въ его сознаніи, отлившись въ форму романтическаго бунтарства.

Но бунтарство это было совершенно особаго рода. Бунтъ поэта не выходилъ за предѣлы „возстанія“ противъ особенностей уклада соціальной жизни. Пушкинъ не былъ способенъ подняться на высоты всеобщаго отрицанія, метафизическаго Nein, какъ Гете, Лермонтовъ и Байронъ; напротивъ передъ „рокомъ“ онъ смирялся и съ Богомъ никогда не боролся.

И его бунтарство противъ „толпы“, человѣческаго общества, покоилось на полусознанномъ убѣжденіи въ томъ, что соціальная среда есть продуктъ свободнаго творчества свободной воли человѣка, который несетъ всю отвѣтственность за недочеты общества. Это—почва его „возстанія“, нашедшая свое яркое отраженіе въ „Историч. Замѣчаніяхъ“, „Сѣятелѣ“, „Братьяхъ Разбойникахъ“.

Но, лишь только Пушкинъ почувствовалъ сверхчеловѣческую неизбѣжность въ индивидуально- и соціально-человѣческомъ дѣяніи (источникомъ этого сознанія были, вѣроятно, переживанія трагизма страсти), бунтарство его затихло подъ вліяніемъ сознанія, что „всюду страсти *роковыя* и отъ *судебъ защиты нѣтъ*“.

Въ „Цыганахъ“ „хоръ“ — „таборъ“, и „страсть“, и „юная дѣва“ пережиты трагически, какъ носители и исполнители сверхличнаго „закона“ судьбы. И въ „Цыганахъ“, въ старомъ цыганѣ дана форма подчиняющагося этому закону сознанія личности. Но на слѣпомъ подчиненіи року стараго цыгана творческое сознаніе Пушкина не могло остановиться. Необходимо было оправданіе такого подчиненія—*примиреніе* съ рокомъ. Это оправданіе было дано въ историческомъ созерцаніи жизни, въ которомъ рокъ явился исторической необходимостью, реализующей въ ирраціональномъ процессѣ исторіи высокія этическія цѣнности. Слѣпой рокъ сталъ этически цѣнной необходимостью ирраціональнаго прогресса и съ нею можно

было примириться. Это новое воззрѣніе на міръ людской дано въ „Борисѣ Годуновѣ“ и сопутствующей ему лирикѣ.

На почвѣ историческаго воззрѣнія у Пушкина создался цѣлый рядъ новыхъ, пріемлющихъ міръ точекъ зрѣнія. Черни противупоставился „народъ“, творящій исторію, суду толпы и минутной извѣстности — судъ народа и слава въ исторіи, смерти—вѣчная жизнь въ „молодой жизни“, въ памяти потомковъ.

Но, главное, что дало Пушкину это историческое міровоззрѣніе—было уваженіе къ быту, къ повседневности, ибо это и есть та жизнь, въ которой выковываются наиболѣе устойчивыя цѣнности культуры.

Однако, такое историческое, Пименовское созерцаніе не могло владѣть поэтомъ безраздѣльно. Оно требуетъ резиньяціи, объективизма, этической оцѣнки, покоющихся на забвеніи своего „я“. А въ Пушкинѣ это „я“ часто заявляло о своихъ правахъ и, „бунтуя“, создавало цѣлый рядъ пессимистическихъ, отрицающихъ стихотвореній.

Постоянная внутренняя борьба вызывала все новые и новые пересмотры и повѣрки воззрѣній, и однимъ изъ моментовъ этой ревизіи является „Мѣдный Всадникъ“, въ которомъ эгоистическое, романтическое міровоззрѣніе осуждено съ особой силой.

Подводя итогъ, можно сказать такъ: поскольку Пушкинъ постепенно освобождался отъ эгоистическаго бунтарства, это освобожденіе было всецѣло обусловлено его историзмомъ. Историческое воззрѣніе научило его пониманію сверхличной необходимости совершающагося и превратило для него „слѣпой рокъ“ въ разумную этическую силу. Онъ пріемлетъ міръ и радостно привѣтствуетъ его: „и все то благо, все добро“, поскольку онъ смотритъ на міръ Пименовскими глазами. И въ этомъ смыслѣ „историзмъ“ есть основа его „реализма“. Исторія научила его „любзи къ року“ и умѣнію видѣть отраженіе солнца въ тихомъ ручьѣ обыденной жизни.“

II.

Литературно-эстетическій этюдъ *А. А. Тамамшева* знаменуетъ собою характерный поворотъ научныхъ интересовъ современнаго студенчества. Въ той, конечно, мѣрѣ, въ какой допустимо по студентамъ-словесникамъ судить обо всемъ студенчествѣ, нужно отмѣтить все растущій интересъ молодыхъ научныхъ силъ къ вопросамъ формы литературныхъ произведеній. Прежній интересъ къ широкимъ обобщеніямъ, къ этико-философскому и общественному изученію литературы какъ будто проходитъ. Вотъ уже 2—3 года я замѣчаю въ своемъ семинаріи, чрезъ который, благодаря обаянію имени Пушкина, проходитъ значительная часть словесниковъ, что цѣлый рядъ способныхъ юношей прямо страстно отдаются изученію стиля, ритма, риѳмы, эпитетовъ, классификаціи мотивовъ, установленію аналогіи пріемовъ у разныхъ поэтовъ и всякимъ инымъ наблюденіямъ надъ внѣшнимъ воплощеніемъ поэзіи. Этотъ интересъ является отголоскомъ того большого вниманія къ вопросамъ поэтической формы, которое получило такое блестящее выраженіе въ работахъ Андрея Бѣлаго, а затѣмъ вызвало рядъ плодотворныхъ работъ гг. Валерія Брюсова, Недоброво, Чудовскаго, Сергѣя Боброва и др.

Не скрою, что сначала меня интенсивнѣйшій интересъ отборной части молодыхъ „пушкинистовъ“ именно къ формѣ, въ ущербъ вниманію къ другимъ сторонамъ поэтическаго творчества, какъ-то безпокоилъ. Всего менѣе потому, чтобы я не придавалъ значенія изученію внѣшняго выраженія внутренней сущности литературнаго творчества. Я придаю этому изученію формы огромное научное значеніе. За нѣсколько лѣтъ до расцвѣта современнаго интереса къ вопросамъ литературной формы я задумалъ составленіе Пушкинскаго Словаря, который всѣ наши интуитивныя сужденія о тайнѣ очарованія, производимаго сладкою музыкою Пушкинскаго стиха поставилъ-бы на твердую почву реальныхъ наблюденій. Но я все же, за исключеніемъ тѣхъ немногочисленныхъ случаевъ,

когда форма какъ-бы переходитъ въ самое существо содержанія, рисую себѣ отношеніе формы къ содержанію, по преимуществу, какъ золотую оправу для лучезарнаго алмаза. Для меня литература всегда была и будетъ храмомъ, въ которомъ поются священные каноны, священные только своимъ устремленіемъ къ Великой Правдѣ бытія, а не совершенствомъ своего выраженія. И вотъ въ этомъ пристальномъ вниманіи именно къ формѣ, безъ соотвѣтственнаго трепета предъ величіемъ содержанія, мнѣ чуялось какое-то холодное александринство, какое-то равнодушіе къ тому, что я называю „героическимъ характеромъ“ русской литературы. Въ неразрывной, конечно, связи Красоты и Правды, ипостась Правды, все-же, начало первенствующее. И если, по вѣщему предчувствію Достоевскаго, Красота спасетъ міръ, то, вѣдь Красота, вся преображенная внутреннимъ горѣніемъ.

По мѣрѣ того, однако, какъ я ближе приглядывался къ увлеченію молодыхъ пушкинистовъ вопросами формы, оно мнѣ представилось подъ другимъ угломъ зрѣнія. Мнѣ показалось, что психологически корень этого интереса гораздо ближе къ исканію истины, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Не слѣдуетъ-ли его объяснить крайнимъ злоупотребленіемъ другими методами изученія литературы? Не буду уже говорить объ общественно-публицистическомъ подходѣ къ литературѣ, который въ неумѣлыхъ рукахъ переходитъ въ самую противную дешевку. Но и глубокій самъ по себѣ религіозно-философскій подходъ почти ничего не даетъ для объясненія очарованія, производимаго на насъ великими произведеніями искусства. Взять хотя-бы тотъ захватывающій коментарій къ Достоевскому и Толстому, которымъ справедливо гордится критика послѣднихъ двухъ десятилѣтій. Центръ тяжести его въ уясненіи и анализѣ *идей*, т. е. чего то такого, что можетъ быть удѣломъ и совершенно бездарнаго писателя. Надо-же поэтому проанализировать не только *что* даетъ великая идея, но и *какъ* она воплотилась. И

чѣмъ этотъ анализъ суше, холоднѣе, тѣмъ онъ точнѣе и слѣдовательно полнѣе удовлетворяетъ высокую жажду познанія таинственной силы, вложенной въ исканія и достиженія искусства.

А. А. Тамамшевъ сначала даетъ въ своей работѣ просто сводъ всего того, что намъ извѣстно о благотворной роли осени въ исторіи Пушкинскаго творчества, затѣмъ переходитъ къ цѣлому ряду отдѣльныхъ наблюденій, достоинства которыхъ увеличивается сравнительными наблюденіями надъ пріемами другихъ поэтовъ. Получается и общность пріемовъ, естественная при одномъ и томъ-же сюжетѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣляются и индивидуальныя особенности. Каждый поэтъ остается вѣренъ себѣ и своей эпохѣ.

Въ ряду наблюденій А. А. Тамашева можно назвать блестящимъ то, которое изложено у него въ XI главкѣ (стр. 196—198). Изслѣдователь устанавливаетъ стилистическій пріемъ, который можетъ быть названъ *„кольцомъ“*:

„Характеренъ часто встрѣчаемый у Пушкина стилистическій методъ, который выражается въ *расчленяемости* общаго положенія въ болѣе узкія и опредѣленныя“.

Иллюстраціи, которыя авторъ приводитъ не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно правильности его наблюденія. Вотъ отрывокъ изъ „Осени“:

И пробуждается Поэзія во мнѣ:
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ, какъ во снѣ
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ—
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И риѳмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Изслѣдователь поясняетъ:

„Въ первой строкѣ мы имѣемъ общее положеніе:

И пробуждается Поэзія во мнѣ.

Вторая строка съуживаетъ понятіе, а затѣмъ уже звено за звеномъ мысли становятся яснѣе и опредѣленнѣе.

Словно въ большомъ кольцѣ рядъ постепенно уменьшающихся колецъ, и такъ до послѣдняго завершительнаго и самаго значительнаго стиха:

Минута—и стихи свободно потекутъ,

который возвращается къ первому стиху:

И пробуждается поэзія во мнѣ.

Расчленяя постепенно отрывокъ, получимъ:

Поэзія—лирическое волненье
Лирическое волненье—свободное проявленье
Свободное проявленье—незримый рой гостей
Незримый рой гостей—плоды мечты
Плоды мечты—волнующіяся мысли
Волнующіяся мысли—легкія риѳмы
Легкія риѳмы—пальцы
Пальцы—перо
Перо—бумага
Бумага—минута
Минута—стихи.

Такъ одно изъ другого вытекаетъ каждое слово и возвращается къ своему началу, образуя кольцо: поэзія—стихи".

Въ частыхъ бесѣдахъ о Пушкинѣ, мнѣ не разъ приходилось указывать на одно великое достоинство Пушкина, почти аналогичное *кольцу* — на строгую, стройную и потому художественно-гармоничную *постепенность,* съ которой Пушкинъ всегда даетъ детали рисуемыхъ имъ картинъ. Взять хотя-бы описаніе Полтавскаго боя или, всего лучше, знаменитое описаніе украинской ночи въ той-же „Полтавѣ":

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.

Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлой церковью сіяетъ
И пышныхъ гетмановъ сады
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ.

Описаніе тутъ идетъ сверху внизъ. Сначала ночь въ своей совокупности, затѣмъ часть ея—небесный сводъ, затѣмъ звѣзды, на небосводѣ утвержденныя, затѣмъ ниже ихъ дремотный воздухъ и затѣмъ только царящіе надъ Бѣлой церковью высокіе тополи. Таже постепенность сверху внизъ въ распредѣленіи свѣта: луна на высотѣ, Бѣлая церковь во всей ея совокупности, гетманскіе сады и спрятавшійся въ нихъ старый замокъ. Но наблюденіе А. А. Тамамшева гораздо полнѣе и индивидуальнѣе для Пушкина. Постепенность, въ концѣ концовъ, это общее свойство всякаго истинно-художественнаго произведенія, благодаря которой художникъ постепенно подчиняетъ или „заражаетъ" своимъ настроеніемъ читателя. И если можно вмѣнить ее Пушкину въ заслугу, то, главнымъ образомъ, за неуклонность, съ которой онъ всегда ей слѣдуетъ. Но вотъ *кольцо*—т. е. сначала *тезисъ,* развитіе его и въ заключеніе возвращеніе къ точкѣ отправленія—это пріемъ уже не всеобщій. И вѣрность наблюденія А. А. Тамамшева доказывается тѣмъ, что сдѣланное надъ „Осенью", оно можетъ быть прослѣжено и въ цѣломъ рядѣ другихъ Пушкинскихъ описаній. Такъ, въ описаніи украинской ночи стилистическое „кольцо" гораздо даже ярче, чѣмъ въ „Осени". Вѣдь тутъ начало и конецъ даже въ однихъ и тѣхъ-же словахъ выражены: *Тиха* украинская ночь, а въ концѣ: *И тихо, тихо* все кругомъ.

III.

Третья изъ помѣщенныхъ въ настоящемъ томѣ статей—работа Александра Попова, помимо цѣннаго обзора весьма мало извѣстной у насъ французской эпиграмматической литературы XVIII вѣка, даетъ рядъ новыхъ, еще неотмѣченныхъ

параллелей съ произведеніями писателей, самыя имена которыхъ или мало, или даже совсѣмъ не упоминаются у нашихъ изслѣдователей. Когда заходитъ рѣчь о французскомъ вліяніи на творчество молодого Пушкина, мы, съ нѣкоторыми добавленіями, приводимъ всегда синодикъ, данный самимъ Пушкинымъ въ „Городкѣ": Вольтеръ, Парни, Шолье, Грекуръ, Грессе и др. Но синодикъ этотъ, прежде всего, далеко не полонъ. Весьма бѣгло затѣмъ отмѣчается вліяніе Руссо,—не философа Жанъ Жака, а поэта Жана Батиста Руссо,—теперь забытаго, а въ свое время очень интересовавшаго литературный міръ и читателей. Смотрѣлъ на него, какъ на достойный образецъ и Пушкинъ, и указанія Попова впервые обращаютъ на это достодолжное вниманіе. Почти не упоминаютъ комментаторы о Лебренѣ. А имя Понсъ де Вердена и совсѣмъ не встрѣчается въ работахъ, посвященныхъ изученію перваго періода творчества Пушкина. Оно не извѣстно даже Леониду Майкову, который въ примѣчаніяхъ къ Батюшкову и Пушкину показалъ себя такимъ прекраснымъ знатокомъ французской литературы.

Мнѣ всегда казалось необходимымъ болѣе детально обслѣдовать связь молодого творчества Пушкина не только съ крупными явленіями французской литературы XVIII вѣка, но и съ явленіями второстепенными и даже ея низами. И въ виду того, что наши библіотеки не могутъ, конечно, дать всего необходимаго книжнаго матеріала, я приложилъ нѣкоторыя старанія къ тому, чтобы одинъ молодой изслѣдователь былъ командированъ въ Парижъ для соотвѣтствующихъ занятій въ Національной Библіотекѣ. Къ сожалѣнію, ничего изъ этой попытки, хотя и принявшей нѣкоторыя реальныя формы, не вышло. Работа Александра Попова показываетъ, что такое обслѣдованіе французскихъ книгъ и особенно періодическихъ изданій, въ нашихъ библіотекахъ не имѣющихся, навѣрное дастъ нѣчто новое. А. А. Поповъ самъ заграницу не ѣздилъ, но онъ завелъ дѣятельную переписку съ учившимся въ Бельгіи

товарищемъ своимъ Б. В. Томашевскимъ, и тотъ для него и пріобрѣталъ рѣдкіе сборники и наводилъ справки въ разныхъ изданіяхъ конца XVIII вѣка и начала XIX-го.

IV.

Этюдъ Юліана Оксмана представляетъ собою первую попытку дать комментарій къ программѣ Пушкина о паписсѣ Іоаннѣ. Программа имѣется, конечно, во всѣхъ изданіяхъ Пушкина, но печатается безъ какихъ-бы то ни было поясненій *). Авторъ этюда даетъ реальный комментарій о самомъ фактѣ, а затѣмъ — что самое цѣнное въ его работѣ — стремится объяснить, чѣмъ такой сюжетъ могъ привлечь къ себѣ вниманіе Пушкина. Тутъ, очевидно, не случайный интересъ къ эфектному сюжету, а психологическая связь съ творческими настроеніями Пушкина въ опредѣленную эпоху. Вполнѣ правильно отмѣчаетъ изслѣдователь, что въ галлереѣ женскихъ образовъ Пушкина образъ паписсы не стоитъ одиноко „Съ своей пылающей душой, съ своими бурными страстями“ она входитъ въ цѣлый циклъ женскихъ образовъ, хотя и бѣгло, но опредѣленно очерченныхъ Пушкинымъ на рубежѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ:

„Въ будняхъ петербургскаго *свѣта,* въ анналахъ исторіи и въ анекдотахъ прошлаго — поэта начинаетъ занимать одинъ и тотъ-же психологическій типъ, прямо противоположный стихійно-безсознательной силѣ обычныхъ его героинь. „Грѣшная дѣва“ „Полтавы“, съ ея „неженскою душей“, Клеопатра „Египетскихъ Ночей“, севильская графиня „Пажа“ (Она строга, властолюбива, но я дивлюсь ея уму); силуэтъ Юдиѳи, Полина изъ „Рославлева“ — съ ея протестомъ и пылкимъ вызовомъ („я не признаю уничиженія, къ которому принуждаютъ насъ. Посмотри на M-me de Stael... А Шарлотъ Кордэ? А наша Маѳа Посадница? А княгиня Дашкова?“) дѣлаютъ

*) Въ моемъ изданіи примѣчанія къ программѣ появятся въ VII, дополнительномъ томѣ.

естественнымъ проявленіе творческаго интереса поэта къ миѳу о паписсѣ".

Но сюжетъ никогда не покорялъ Пушкина, онъ былъ для него всегда лишь матеріаломъ, лишь тѣмъ кускомъ мрамора, которому даетъ жизнь и значеніе только настроенія ваятеля—творца. И Пушкинъ, какъ искусно, тонко и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ убѣдительно догадывается авторъ доклада, взявъ изъ легенды только остовъ ея, на этомъ фонѣ вполнѣ самостоятельно задумалъ создать образъ Фауста въ женскомъ воплощеніи.

Къ догадкѣ автора можно прибавить, что въ словахъ программы, „il vaut mieux en faire un poème dans le style de Christabel ou bien en octaves" можно найти еще одно доказательство справедливости догадки изслѣдователя: „Christabel" — главная героиня одноименной поэмы Кольриджа, полной магіи и всякой иной средневѣковщины *).

О работѣ надъ составленіемъ Пушкинскаго Словаря, будетъ данъ отчетъ въ III т. Пока ограничусь сообщеніемъ, что работа эта—больше всего благодаря дѣятельному сочувствію слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ—быстрыми шагами идетъ къ своему завершенію.

Въ III т. будетъ данъ отчетъ и о другомъ начинаніи, о которомъ было заявлено въ предисловіи къ I т.—о созданіи Пушкинскаго Общества. Пока тоже ограничусь краткимъ сообщеніемъ, что 5 дек. 1915 г. состоялось первое засѣданіе „Историко-Литературнаго кружка имени Пушкина при Петроградскомъ Университетѣ" и что какъ-то опредѣленно чувствуется, что кружку предстоитъ хорошее будущее.

С. Венгеровъ.

25 Января 1916 г.

---

*) Поэма могла стать извѣстной Пушкину по отрывку, переведенному Козловымъ („Сынъ Отеч." 1823,) и по подлиннику. Пушкинъ очень интересовался Кольриджемъ, и въ библіотекѣ поэта сочиненія его и письма имѣются въ трехъ изданіяхъ (*Модзалевскій*, „Библіотека А. С. Пушкина" стр. 198).

Историзмъ Пушкина.

(Къ вопросу о характерѣ пушкинскаго объективизма).

Рефератъ, читанный въ Пушкинскомъ Семинаріи при Спб. Университетѣ 4 октября, 18 октября, 28 октября 1912 г., 24 января, 4 апрѣля и 2 мая 1913 г.

Страсти мои утихаютъ; тишина царитъ въ душѣ моей; ненависть, раскаяніе, все исчезаетъ, любовь, одушевленіе (I. 336 [1]).

Историческіе взгляды Пушкина изучались по преимуществу съ соціально-политической точки зрѣнія: лишь постольку, поскольку они вліяли на его общественную программу и тактику, опредѣляли принадлежность поэта къ тому или иному политическому лагерю.

Такое отношеніе къ вопросу не только создавало тенденціозное, публицистическое настроеніе, неумѣстное въ научномъ изслѣдованіи, но и значительно сужало самую проблему: развитію всеобъемлющаго историческаго воззрѣнія на міръ и соотвѣтствующаго историческаго переживанія жизни почти не удѣлялось вниманія—все сводилось къ оцѣнкѣ прогрессивнаго и реакціоннаго элемента въ историческихъ воззрѣніяхъ поэта.

А, между тѣмъ, уже a priori можно утверждать, что эти послѣднія не только вліяли на его политическія убѣжденія, но и сыграли крупную роль въ образованіи того глубокаго, объективно пріемлющаго міръ, отрѣшеннаго отъ личной за-

[1]) Пушкинскій текстъ всюду, гдѣ это не оговорено особо, цитируется по 8-томному изд. подъ ред. П. О. Морозова фирмы „Просвѣщеніе".

интересованности воззрѣнія на жизнь, къ которому Пушкинъ подошелъ въ расцвѣтъ своего реалистическаго творчества. Въ этомъ убѣждаетъ насъ самый поверхностный анализъ особенностей его сознанія.

Пушкинъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которымъ особенно близки и понятны созерцанія, такъ сказать, космическаго и тѣсно съ нимъ связаннаго религіознаго порядка. Богъ и вселенная, взятые сами по себѣ, внѣ всякаго отношенія къ человѣку, какъ самодовлѣющія, абсолютныя начала, не занимали сколько-нибудь виднаго мѣста въ его духовной жизни. Про него нельзя сказать, что онъ былъ пантеистомъ, атеистомъ, деистомъ и т. д. Этотъ моментъ не имѣлъ крупнаго значенія въ его сознаніи, точно такъ же какъ и тѣ или иныя его воззрѣнія на природу. Правда, подчасъ онъ подымался до глубокихъ пантеистическихъ переживаній, особенно въ пору романтизма, когда онъ слушалъ „немолчный шопотъ Нереиды, глубокій вѣчный хоръ валовъ, могучій гимнъ отцу міровъ“, но въ общемъ онъ былъ лишенъ космическаго и религіознаго чувства, которыя отличаютъ, напримѣръ, Лермонтова.

Люди заслоняли для него природу, всѣ его интересы, волненія и думы были чисто-человѣческими и о человѣческомъ. Соціальная среда почти исчерпывала для него космосъ. Въ своихъ исканіяхъ онъ лишь изрѣдка отходилъ за предѣлы жизни людей и почти никогда за предѣлы жизни вообще. Жизнь и только жизнь была объектомъ его размышленія и источникомъ его творчества.

Въ этой особенности пушкинскаго созерцанія находило свое ограниченіе его творчество, но ей же обязаны произведенія поэта своей необыкновенной мягкостью и гуманностью, своимъ совершенно особымъ очарованіемъ. Созерцаніе „звѣзднаго неба“ [1]), трагическое противопоставленіе личности

---

[1]) „Звѣздное небо надо мною, нравственный законъ во мнѣ“—Кантъ.

всему космосу осуществляется въ полной мѣрѣ лишь при забвеніи того, что стоитъ между человѣкомъ и природой — людей. Чтобы жить, такъ сказать, съ глазу на глазъ съ Богомъ и вселенной, нужно забыть міръ человѣческихъ оцѣнокъ и точекъ зрѣнія, надо подняться на тѣ снѣговыя вершины, гдѣ царитъ торжественное безмолвіе и равнодушное великолѣпіе, куда не достигаютъ крики и стоны равнины, гдѣ нѣтъ ничего, что бы говорило о человѣкѣ и его мѣрѣ.

Пушкинъ не могъ пробиться туда сквозь толщу человѣческихъ страстей, отношеній и событій. Его теоретическая оріентировка въ мірѣ проходила въ сферѣ человѣческой жизни. Личность и общество были наиболѣе общимъ противопоставленіемъ, до котораго онъ былъ въ состояніи возвыситься.

И само собой понятно, что при такихъ условіяхъ вопросы и основныя созерцанія исторіософіи должны были играть чрезвычайно крупную роль въ эволюціи общаго міровоззрѣнія поэта, заступая мѣсто религіозныхъ и метафизическихъ проблемъ. Съ этой точки зрѣнія слова современнаго пушкиниста: „Своей гармоніей, своимъ олимпійскимъ величіемъ Гете былъ не мало обязанъ занятіямъ естественными науками; Пушкинъ своей гармоніей, своимъ мягкимъ, человѣчнымъ, всеоправдывающимъ объективизмомъ сильно обязанъ занятіямъ исторіей, которая научила его безпристрастно и справедливо смотрѣть на вещи“ [1])—пріобрѣтаютъ особую вѣроятность и значительность.

Примыкая къ такой постановкѣ вопроса, предлагаемый очеркъ и пытается намѣтить основныя формы историческаго мышленія поэта и опредѣлить ихъ вліянія на его творчество и поведеніе. Но само собой разумѣется, что всѣ опредѣленія, здѣсь даваемыя, имѣютъ только приблизительное значеніе. Пушкинъ не былъ отвлеченнымъ мыслителемъ, и его міровоззрѣніе никогда не отливалось въ строгую и продуманную

[1]) Мод. Гофманъ, „Капит. дочка“ Пушкина, вступ. статья въ изд. проф. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 157.

систему взглядовъ. Напротивъ, взору изслѣдователя оно является въ видѣ груды частныхъ оцѣнокъ, не сведенныхъ къ общимъ принципамъ, въ видѣ цѣпи извѣстныхъ настроеній, которыя не осознаются поэтомъ съ достаточной ясностью. Основныя убѣжденія, высшіе критеріи не получаютъ здѣсь отчетливой формулировки, а дѣйствуютъ скорѣе въ видѣ какой-то наполовину безсознательной силы, устанавливающей извѣстное единообразіе отдѣльныхъ сужденій. И, облекая эти неопредѣленныя идеи-эмоціи въ формы философскихъ тезисовъ, изслѣдователь тѣмъ самымъ схематизируетъ живой процессъ эволюціи сознанія, упрощаетъ его безконечно разнообразное содержаніе и до извѣстной степени даже искажаетъ его. Но такова уже участь всякаго обобщенія въ сферѣ историческаго познанія, отчего, впрочемъ, оно отнюдь не утрачиваетъ своей цѣнности ни въ качествѣ самостоятельнаго построенія, ни въ качествѣ руководящаго принципа для осуществленія послѣдней задачи исторіи— возстановленія протекшаго явленія во всей его конкретной значительности.

I.

Исходнымъ пунктомъ всего пушкинскаго мышленія о мірѣ, поскольку оно опиралось не на личный опытъ, но на заимствованныя, книжныя сужденія, тѣмъ источникомъ, откуда онъ щедрой рукой черпалъ первоначально идеи и образы, была философія французскаго просвѣщенія. Французское вліяніе преобладало въ его семьѣ, господствовало въ лицеѣ, имъ же была насыщена и та атмосфера, которой дышалъ поэтъ по выходѣ изъ лицея, вращаясь въ кругу петербургскаго офицерства, давшаго впослѣдствіи первыхъ русскихъ революціонеровъ [1]).

[1]) Ср., напр., В. И. Семевскій, „Идеалы декабристовъ“, 209—234; Ал-ѣй Веселовскій, „Запад. вліяніе въ русской литерат.“, 154—55, прим. 2; Павловъ-Сильванскій, „Былое“, 1907, VIII.

Но, частью въ силу особаго склада своего характера, частью благодаря воздѣйствію ближайшихъ друзей и знакомыхъ, а также и вліянію литературной традиціи, ведшей свое начало отъ Державина и ранѣе, молодой Пушкинъ усвоилъ себѣ изъ французской философіи не ученіе героическаго [1]) раціонализма объ отвлеченномъ человѣкѣ вообще, ради блага котораго должна жить и бороться конкретная личность, а элегантную идеологію *эпикуреизма, исходящаго въ своихъ построеніяхъ отъ непосредственнаго субъекта міровоззрѣнія, отъ чувственно опредѣляемаго я.*

Этотъ фактъ долженъ быть отмѣченъ особо. Какъ бы ни относиться къ тому воззрѣнію на жизнь, которое нашло свое выраженіе въ раннихъ произведеніяхъ поэта: считать ли его дѣйствительной формой созерцанія Пушкина, вполнѣ „отвѣчавшей порывамъ молодой души“ [2]), или же видѣть въ немъ по преимуществу обнаруженіе подражательности юношескаго творчества [3]),—во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что въ немъ уже звучатъ тѣ ноты, которыя позднѣе сольются въ лейтмотивъ романтической идеологіи Пушкина: *напряженный эгоцентризмъ мышленія, съ одной стороны, и глубокій эмпиризмъ оцѣнокъ, съ другой.*

Поэтъ начинаетъ съ непосредственнаго противопоставленія своего „я“ міру. Онъ ничего не знаетъ ни о Богѣ, которому изначально подчинена личность, ни объ обязанностяхъ этой послѣдней передъ людьми и обществомъ. Основная для всякаго философскаго построенія проблема взаимоотношенія субъекта и внѣшняго міра ставится имъ не въ формѣ вопроса объ отношеніи отвлеченнаго, общаго понятія индивидуума къ обществу и природѣ, также взятымъ въ общемъ опредѣленіи, а въ формѣ вполнѣ конкретнаго, концентри-

[1]) Терминъ, введенный пр. С. А. Венгеровымъ для характеристики русской литературы. Пр. Н. И. Карѣевымъ примѣненъ для франц. раціонализма (Н. Карѣевъ, „Ист. Зап. Евр. въ нов. время“, т. III, стр. 145).

[2]) Отзывъ А. Н. Пыпина.

[3]) Ср. П. Е. Щеголевъ, „Пушкинъ“, 83—88, 100.

рующагося на наличномъ моментѣ сопоставленія его „я“ и окружающаго. Всѣ вопросы онъ рѣшаетъ для себя и за свой страхъ. Въ этомъ смыслѣ его философствованіе съ самаго начала стоитъ на почвѣ индивидуалистическаго метода.

Но, противополагая свое „я“ окружающему міру, поэтъ само это „я“ понимаетъ слишкомъ упрощенно. Относясь скептически ко всякимъ идеальнымъ порывамъ, онъ какъ будто не хочетъ замѣчать никакихъ другихъ движеній своей воли, кромѣ направленныхъ къ достиженію удовольствія; наслажденіе онъ объявляетъ высшей цѣнностью, и, согласно этому, видитъ назначеніе личности въ счастьѣ, понимаемомъ матерьяльно, какъ удовлетвореніе всѣхъ чувственныхъ влеченій человѣка. Проблема индивидуализма рѣшается здѣсь съ помощью догматически принятыхъ основоположеній эйдаймонистическаго позитивизма, результатомъ чего является система эгоистической философіи.

Въ предѣлахъ этой философіи движется все мышленіе поэта приблизительно до 1824—25 года; за этотъ промежутокъ времени эволюція его міросозерцанія не дѣлаетъ никакихъ рѣзкихъ скачковъ, не вводитъ въ кругъ привычныхъ идей никакихъ оригинальныхъ и новыхъ точекъ зрѣнія и выражается только въ постепенномъ осознаніи и углубленіи однихъ и тѣхъ же проблемъ и методовъ.

Въ эпикурейскихъ напѣвахъ Пушкина теоретическое сознаніе его еще не перешло къ полному осмысливанію переживаемаго; понятія, которыми онъ оперируетъ, еще не выстраданы имъ; постановка проблемъ поверхностна и не имѣетъ реальнаго обоснованія. Поэтъ не подымается здѣсь до философской оцѣнки своего собственнаго опыта, а какъ-то скользитъ по поверхности жизни и, имѣя дѣло съ традиціонными идеями и схемами, довольствуется простымъ восхваленіемъ традиціонныхъ, чуждыхъ реальной дѣйствительности идеаловъ блаженства, да банальнымъ оправданіемъ себялюбія.

И эта поверхностность спасаетъ его отъ сомнѣній въ возможности осуществленія личнаго счастья. Замѣняя „роковую

страсть" легкимъ влеченіемъ къ наслажденію, а общество —дружескимъ кружкомъ, да свѣтской гостинной, которой, впрочемъ, слѣдуетъ сторониться, молодой Пушкинъ съ чрезвычайной легкостью рѣшаетъ труднѣйшія проблемы эгоистической этики; не постигая зловѣщаго смысла тѣхъ уроковъ, которыми щедро дарила его жизнь, не давая себѣ яснаго отчета въ глубокомъ трагизмѣ „бѣшенныхъ желаній" и „горькихъ чувствъ,", кипѣвшихъ въ сердцѣ, онъ въ своихъ разсужденіяхъ на этическія темы полонъ самаго бодраго оптимизма. Конфликтъ личности и общества еще не осознанъ во всемъ своемъ размѣрѣ; хотя „я" давно уже имѣетъ право требовать отъ окружающаго міра блаженства, но, увѣренное въ удобоисполнимости своихъ идеаловъ, оно до поры до времени не реализуетъ своего права; все его вниманіе занято погоней за доступными наслажденіями.

Но такое состояніе наивнаго оптимизма не могло продолжаться долго. Вѣрнѣе будетъ сказать, что на практикѣ оно прекратилось раньше, чѣмъ успѣло возникнуть. Бодрое и ясное настроеніе существовало только въ теоріи, въ подражательной поэзіи, дѣйствительная же жизнь съ перваго момента самостоятельности Пушкина была для него, по всѣмъ вѣроятіямъ, тайнымъ изнываніемъ надъ бездной потаенной. Само положеніе его среди товарищей едва ли не было ложнымъ. Представитель малоизвѣстнаго, обѣднѣвшаго рода, человѣкъ съ болѣе, чѣмъ скромными средствами, безъ всякой надежды на карьеру и фортуну, даже безъ опредѣленной линіи жизненнаго строительства,—онъ, конечно, не былъ яркимъ явленіемъ на блестящемъ фонѣ богатой и знатной молодежи, которая не стѣснялась никакими расходами и передъ которой раскрывались всѣ двери. Пущинъ сохранилъ намъ довольно плачевный образъ юноши Пушкина у театральнаго оркестра, заискивающаго своими шуточками у сильныхъ міра [1]), —можно съ увѣренностью сказать, что такихъ моментовъ было не мало въ жизни поэта, и не трудно себѣ представить,

[1]) Л. Маиковъ, „Пушкинъ", стр. 70—71.

какъ это отзывалось на состояніи его духа. Очень вѣроятно, что много въ его бреттерствѣ и фрондерствѣ обязано своимъ возникновеніемъ раздраженному самолюбію и стремленію во что бы то ни стало снискать себѣ популярность и авторитетъ среди свѣтскихъ пріятелей.

Къ этимъ, подчасъ невыносимымъ, внѣшнимъ условіямъ присоединялось и недовольство собой, неудовлетворенность своимъ образомъ жизни. Пушкинъ не принадлежалъ къ числу самоувѣренныхъ и самодовольныхъ; мотивъ раскаянія, стремленія къ совершенствованію очень характеренъ для его поэзіи. Впечатлительный и мягкій, онъ легко поддавался дружескому упреку. И, если отъ Кошанскаго [1]) можно было отдѣлаться презрительной усмѣшкой, а почтеннѣйшему А. И. Тургеневу отвѣтить любезной шуткой [2]), то къ уговорамъ Чаадаева и Пущина, Жуковскаго и Карамзина нельзя было отнестись съ такой легкостью, и они, вѣроятно, не однажды пробуждали глубокія угрызенія совѣсти въ чуткой душѣ поэта [3]). Объ одномъ изъ подобныхъ эпизодовъ внутренней борьбы Пушкина говоритъ намъ прекрасное по настроенію стихотвореніе „Возрожденіе“ отъ 1819 г., оканчивающееся многозначительной строфой:

Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней. (I, 250).

Но о томъ же мракѣ и страданіяхъ говорятъ и воспоминанія поэта:

Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ дней
Ты видѣлъ, какъ потомъ, въ волненіи страстей,
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленный;
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной

[1]) „Моему Аристарху“, I, 126 (1815 г.).
[2]) А. И. Тургеневу, I, 225 (1817 г.).
[3]) Ср. „Воспомин. Пущина“, Майковъ, op. cit.

Ты поддержалъ меня недремлющей рукой;
Ты другу замѣнилъ надежду и покой,—

обращается онъ уже въ 1821 г. къ Чаадаеву. Позднѣе онъ выражается еще рѣшительнѣе:

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
На играхъ Вакха и Киприды,
А сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды. (VI, 73—74, 1828 г.).

Опредѣленность этихъ словъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Во всякомъ случаѣ, миѳъ о счастливой беззаботности и античной ясности духа юноши Пушкина долженъ быть безусловно отвергнутъ. Напрасно поэтъ восклицалъ:

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнію играть;
Пусть чернь слѣпая суетится:
Не намъ безумной подражать. (I, 204, 1817 г.)—

жизнь ежеминутно доказывала ему, что играть съ нею не приходится, и создавала въ его душѣ мрачныя и рѣзкія настроенія. И какъ только талантъ Пушкина окрѣпъ настолько, что онъ получилъ способность поэтически переживать реальное содержаніе своего сознанія, тотчасъ эти совсѣмъ не эпикурейскіе мотивы получили преобладающее значеніе въ его произведеніяхъ, формируясь постепенно въ довольно стройное, эгоистическое по методу, но уже пессимистически окрашенное міровоззрѣніе. Мы не можемъ вдаваться здѣсь въ подробное описаніе этой эволюціи [1]). Для цѣлей настоящаго очерка важно отмѣтить только ея конечные результаты,

[1]) Строго говоря, элементы пессимистической оцѣнки міра налицо уже въ эпикурейскихъ мотивахъ поэта, перейдя сюда вмѣстѣ съ скептицизмомъ изъ французской поэзіи, въ частности отъ Вольтера.

для чего достаточно воспользоваться итоговымъ произведеніемъ пушкинскаго романтизма—„Цыганами“.

О типѣ Алеко, точнѣе, по поводу его можно сказать, да и было сказано, очень много, такъ какъ типъ этотъ имѣетъ огромное значеніе и въ исторіи русской литературы и въ самой духовной исторіи русскаго общества. Но, тѣмъ не менѣе, если оцѣнивать его лишь постольку, поскольку въ немъ отразились воззрѣнія самого Пушкина на опредѣленной ступени его развитія, трудно не согласиться во многомъ съ той уничтожающей критикой, которой подвергъ Алеко Бѣлинскій.

„Кому не случалось,—говоритъ онъ,—встрѣчать въ обществѣ людей, которые изъ всѣхъ силъ бьются прослыть такъ называемыми либералами и которые достигаютъ не болѣе, какъ незавиднаго прозвища крикуна. Никакъ нельзя сказать, что бы Алеко Пушкина былъ изъ числа этихъ людей, но и нельзя сказать, чтобы онъ не былъ имъ сродни. Глупецъ, который корчитъ изъ себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленькій эгоистъ, который не любитъ для себя тѣхъ самыхъ стѣснительныхъ формъ, которыми любитъ душить другихъ. Дайте этому эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противорѣчитъ ему,—и передъ вами весь Алеко,—*такой, какимъ его создалъ Пушкинъ* (курсивъ нашъ). Не страсти погубили Алеко! „Страсти“—слишкомъ неопредѣленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ. Алеко погубила одна страсть, и эта страсть—эгоизмъ*.

Въ самомъ дѣлѣ, каково прямое содержаніе той драмы Алеко, которая описывается въ поэмѣ?

Первый эпизодъ ея разыгрался за предѣлами самаго произведенія. Къ цыганамъ Алеко является уже переживши какую-то драму тамъ, гдѣ

Люди въ кучахъ, за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,

Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей. (III, 220).

Невозможно предположить, чтобы причиной этого столкновенія, породившаго бѣгство Алеко, были какія-либо объективныя, сверхъличнаго порядка мотивы, т. е. соціальный протестъ, религіозное разногласіе, борьба за политическую свободу, за истину и справедливость и т. д. Несомнѣнно, что его источники слѣдуетъ искать въ чрезмѣрныхъ личныхъ требованіяхъ Алеко, въ его неспособности создать себѣ счастье среди образованной толпы. Конечно, эта неспособность найти себѣ удовлетвореніе въ неволѣ душныхъ городовъ сама по себѣ показываетъ извѣстную неординарность Алеко, неопровержимо свидѣтельствуетъ о томъ, что въ своихъ вкусахъ и стремленіяхъ онъ стоитъ гораздо выше окружающихъ. Но все же конфликтъ съ обществомъ разыгрывается здѣсь на чисто-личной почвѣ и находитъ свое теоретическое оправданіе въ положеніяхъ эгоистической философіи. Это становится совершенно очевиднымъ изъ дальнѣйшаго поведенія Алеко. Вѣдь, попавъ къ цыганамъ, онъ успокаивается и, повидимому, находитъ полное удовлетвореніе въ тѣхъ возможностяхъ, которыя открываетъ передъ нимъ степная жизнь. Но возможности эти исключительно личнаго характера: степи доставили герою счастье съ женой [1]), профессію и образъ жизни по сердцу. Обывательскую комедію нравовъ онъ замѣнилъ идилліей во вкусѣ Руссо и на этомъ, какъ гласитъ, хотя и съ нѣкоторыми оговорками, повѣствованіе, остановился. Здѣсь рѣзкое отличіе Пушкина отъ Байрона выступаетъ во всей силѣ. Для героя послѣдняго образъ птички Божіей совершенно немыслимъ и даже неприличенъ;

[1]) И съ ребенкомъ, если судить по не вошедшему въ окончательный текстъ монологу Алеко. См. III, 211-12.

лермонтовскій парусъ не можетъ застояться у тихой пристани,—его неустанно влечетъ въ открытое море; не любовница измѣняетъ Донъ-Жуану, но онъ измѣняетъ ей. Напротивъ, герой Пушкина удовлетворяется тихимъ прозябаніемъ на лонѣ природы одинъ и другой годъ, и конца бы не предвидѣлось этому мирному счастью, если бы не внѣшнія обстоятельства, которыя снова вывели Алеко изъ состоянія равновѣсія [1]).

Дѣло въ томъ, что, если степная идиллія пришлась по вкусу Алеко, то она, въ концѣ концовъ, надоѣла Земфирѣ, которая измѣнила своему герою. Вѣчный штиль невозможенъ, вѣтеръ со стороны разметалъ хрупкое зданіе личнаго счастья, и Алеко въ припадкѣ бѣшенства собственными руками довершаетъ дѣло разрушенія, начатаго враждебнымъ случаемъ. Вполнѣ послѣдовательно и второй конфликтъ его съ обществомъ разыгрывается по вопросу о личномъ счастьѣ. Тутъ характерна глубокая увѣренность личности въ своемъ правѣ на блаженство. Свое желаніе она дѣлаетъ высшимъ закономъ поведенія, свое удовлетвореніе—высшей цѣлью окружающей жизни и за отказъ исполнить ея требованія угрожаетъ обрушить на всѣхъ и вся свою месть, подчасъ чрезвычайно дикую и кровавую. Форма орієнтировки въ мірѣ у нея рѣзко эгоцентрическая, матеріальное же ея опредѣленіе чисто-позитивистское, не выходящее за предѣлы чувственныхъ движеній воли.

Такимъ образомъ въ „Цыганахъ“ поставлена проблема счастья личности. Здѣсь какъ бы продѣлывается своеобразный экспериментъ: помѣстивъ эгоистически настроенную личность въ среду, не затронутую развратомъ просвѣщенія, поэтъ изслѣдуетъ, что будетъ съ ней въ этихъ необычныхъ условіяхъ. Результаты получились самые плачевные: идиллія сорвалась точно такъ же, какъ сорвался и опытъ городской жизни.

---

[1]) О „байронизмѣ“ Пушкина ср. А—ѣй Веселовскій, „Этюды и характеристики“, т. I (4 изд.), стр. 419, 424; Спасовичъ, „Байронъ у Пушкина и Лерм.“, стр. 38. („Лит. Библ.“, 911 г.); Дашкевича „Пушкинъ въ ряду поэтовъ новаго времени“ (Сборн. Кіев. Ун.); Вяч. Иванова, вступ. ст. къ „Цыганамъ“ Венгеровъ, т. III, стр. 230—31.

На улицахъ города и въ дикихъ степяхъ рокъ одинаково преслѣдуетъ человѣка,—и надежда на счастье—пустая и неосновательная мечта.

Что самъ Пушкинъ дорожилъ именно этимъ выводомъ изъ своего художественнаго произведенія, а не судомъ надъ Алеко, который вершитъ Старый Цыганъ, или изображеніемъ хора, объ этомъ неопровержимо свидѣтельствуетъ эпилогъ поэмы:

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны,
И ваши сѣни кочевыя
Въ пустынѣ не спаслись отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Выводъ этотъ не совсѣмъ точенъ: драматическое дѣйствіе доказываетъ только, что счастья нѣтъ для Алеко, т. е. счастья, понятаго эгоистически. Но именно эта чрезмѣрность обобщенія чрезвычайно показательна. Для Пушкина иного счастья не существуетъ, на міръ онъ смотритъ здѣсь глазами Алеко и подводитъ въ заключеніе именно тотъ итогъ, который непремѣнно подвелъ бы этотъ послѣдній. Если бы поэтъ уже поднялся надъ точкой зрѣнія Алеко, онъ бы обязательно ввелъ въ свое резюме нѣкоторыя ограниченія, но, соглашаясь съ нимъ въ пониманіи назначенія личности, онъ имѣлъ полное право выразить свои взгляды въ самой общей формѣ. И что резюме это было не случайнымъ, доказываетъ тотъ фактъ, что оно повторяется въ очень значительной, прощальной пѣснѣ пушкинскаго романтизма:

...: Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль просвѣщенье иль тиранъ. (I, 351,1824 г.).

Этотъ одновременный лирическій комментарій къ драматическому произведенію лучше всего обнаруживаетъ, на чемъ было сосредоточено вниманіе Пушкина во время созданія „Цыганъ“, и его значительность оттѣняется еще рѣзче, если сопоставить его съ романтической увертюрой поэта:

Погасло дневное свѣтило;
На море синее вечерній палъ туманъ.
Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!
Я вижу берегъ отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
Съ волненьемъ и тоской туда стремлюсь я,
Воспоминаньемъ упоенный... (I, 266, 1820 г.).

Между написаніемъ этихъ стихотвореній прошло нѣсколько лѣтъ. Волшебные края полуденной земли оказались химерой: океану некуда вынести своего пѣвца,—повсюду одно и то же: просвѣщеніе и тиранъ, роковыя страсти и удары судьбы. — Поэтъ составилъ условіе, жизнь рѣшила задачу.

Этимъ заканчивается первый этапъ духовнаго развитія Пушкина. Но, изучая его, мы не можемъ не признать въ немъ замѣчательной послѣдовательности и строгости въ смѣнѣ отдѣльныхъ моментовъ. Маленькій эгоистъ эпикурейскихъ мотивовъ превращается здѣсь въ большого—романтическаго индивидуализма. Поверхностное исканіе легкихъ радостей замѣняется заносчивымъ требованіемъ личнаго счастья, стремленіе къ чувственному удовлетворенію — роковой страстью, спокойная и умѣренная независимость — разнузданной „свободой“, проблески недовольства — неистовымъ бунтомъ. И рядомъ съ этимъ происходитъ постепенная смѣна различныхъ оцѣнокъ жизни и міра; оптимистическія настроенія юношеской философіи уступаютъ мѣсто тревожнымъ ожиданіямъ, которыя въ свою очередь исчезаютъ въ сумракѣ разочарованій, въ глубоко пессимистическихъ оцѣнкахъ человѣка, извѣдавшаго коварной жизни цѣну. И, созерцая этотъ

процессъ духовнаго развитія, не знаешь, чему болѣе удивляться: естественности ли стихійнаго, органическаго роста личности или же желѣзной послѣдовательности въ развитіи нѣсколькихъ логическихъ принциповъ. Во всякомъ случаѣ, въ эволюціи пушкинскаго сознанія гораздо больше внутренняго, имманентно-обоснованнаго движенія, чѣмъ быстрыхъ перемѣнъ въ силу внѣшнихъ толчковъ. Унаслѣдовавъ отъ литературныхъ предшественниковъ эпикурейскую философію, онъ углубилъ и развилъ ея принципы и, оцѣнивая съ ихъ помощью реальное содержаніе своей жизни, пришелъ, въ концѣ концовъ, къ тѣмъ выводамъ, которые вообще обязательны для всякаго смѣлаго эйдаймонизма: къ пессимистической оцѣнкѣ жизни и міра.

II.

Такимъ образомъ, индивидуалистическій эйдаймонизмъ является основной формой этическаго мышленія молодого Пушкина. Но само собой разумѣется, что точки зрѣнія и настроенія, составляющія въ своей совокупности эту идеологію, отнюдь не исчерпывали всего содержанія духовной жизни поэта. Рядомъ съ рѣзко эгоистическими, направленными на собственное удовлетвореніе переживаніями и теоретическими построеніями, въ немъ жили и иногда ярко вспыхивали настроенія и думы совсѣмъ иного порядка, болѣе объективныя и идеалистическія: чувство патріотизма, ненависть къ тиранству, политическое свободомысліе и пр. Пушкинъ былъ не только эпикурейцемъ или индивидуалистомъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, но и пѣвцомъ вольности, врагомъ деспотизма, и примыкалъ къ вполнѣ опредѣленной общественной группѣ.

Однако, общій тонъ всего міровоззрѣнія не могъ не проявиться и на его соціально-политическихъ взглядахъ. Извѣстно, какъ подозрительно относились къ нему декабристы, съ какой настойчивостью они „оберегали“ его отъ всякаго участія въ ихъ опасной дѣятельности, какіе слухи распускали или, по крайней

мѣрѣ, поддерживали про него на югѣ [1]). И эта осторожность не была лишена нѣкоторыхъ основаній. Конечно, смѣшно было подозрѣвать Пушкина въ способности къ предательству или даже откровенности, бо́льшей, чѣмъ та, какую проявили на допросахъ сами декабристы [2]), но печать случайности и если угодно, какой-то поверхностности, несомнѣнно отмѣчала его политическую дѣятельность. Источниками радикализма Пушкина, какъ въ теоріи, такъ и на практикѣ, было не ясное и опредѣленное чувство долга передъ закрѣпощеннымъ народомъ или отечествомъ и пр., а чисто-субъективныя, совершенно личныя переживанія. Онъ ненавидитъ деспотизмъ и „горитъ свободой"; подъ вліяніемъ друзей и честолюбія, а отчасти ужасной мысли, омрачающей душу, въ немъ воспитывается и крѣпнетъ рядъ эмоцій, разрѣшающихся теоретически въ видѣ радикализма, практически въ формѣ рѣзкихъ поэтическихъ выступленій. Этотъ циклъ переживаній входитъ въ сумму иныхъ „страстей" и образуетъ извѣстную составную часть его жизни, никогда не пріобрѣтая преобладающаго значенія надъ другими ея элементами. Утихаютъ настроенія, замираетъ и политическая дѣятельность. Сознаніе ея обязательности, ея необходимости помимо личныхъ влеченій отсутствуетъ въ душѣ поэта. Онъ въ оппозиціи, пока ему хочется этого, пока онъ молодъ и не остепенился, и считаетъ себя въ правѣ отказаться отъ нея, когда онаему надоѣстъ, такъ какъ не признаетъ (практически) за собой никакихъ обязательствъ. Этотъ характеръ его политическаго міровоззрѣнія лучше всего выступаетъ въ прекрасномъ „Посланіи къ Чаадаеву" отъ 1818 г.:

Любви, надежды, гордой славы
Не долго тѣшилъ насъ обманъ.

[1]) Н. Лернеръ, „Декабристы и Пушкинъ". „Рѣчь", 1912 г., № 82.

[2]) Повед. Пушкина относит. декабристовъ, какъ извѣстно, было болѣе, чѣмъ безукоризненнымъ. Ср. отвѣтъ его Николаю I, хлопоты за Раевскихъ (письмо къ Бенкендорфу 18/I, 1830; посланія: къ Пущину, въ Сибирь и пр. Ср. письмо Мар. Ник. Волконской, Шляпкинъ, „Изъ неизд. бум. Пушкина" стр 129; письмо къ Вяземскому отъ 14—VIII, 1826 г.

Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипятъ еще желанья:
Подъ гнетомъ власти роковой
Отчизны внемлемъ призыванья;
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
Пока́ свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души высокіе порывы и т. д. (т. I, 232).

Это политическое исповѣданіе становится еще любопытнѣе, если сравнить его со строфами изъ біографіи Кавказскаго Плѣнника:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.
. . . . . .
. . . . . .
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.
Свобода! Онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ;
Страстями сердце погубя,
Охолодѣвъ къ мечтѣ и лирѣ,
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленыя тобою,
И съ вѣрой, пламенной мольбою,
Твой гордый идолъ обималъ. (т. III, 122).

Сходство лирической настроенности обѣихъ пьесъ поразительно [1]). Строго говоря, какъ и „горѣніе свободой", отмѣченное въ „Посл.", легко можетъ перейти въ культъ личной освобожденности, нашедшей свое выраженіе въ Плѣнникѣ, такъ и этотъ послѣдній легко можетъ обернуться борцомъ за святую вольность. И тутъ и тамъ мотивировка *перехода* къ „служенію" и „исканію" свободы одна и та же: оба героя извѣдали людей и свѣтъ, познали цѣну невѣрной жизни; герои разочаровались въ возможности счастья и цѣнностяхъ жизни: любовь, надежда, слава, дружба оказались не болѣе, какъ безумнымъ сномъ, утреннимъ туманомъ, наивнымъ самообольщеніемъ юности. И, познавъ истину, оба обратились къ единственному, что могло еще воспламенять ихъ сердца, погубленныя страстями и охолодѣлыя къ ~~къ~~ мечтамъ: къ культу свободы, въ какой бы формѣ онъ ни выражался. И тутъ и тамъ посвященіе себя свободѣ означаетъ прежде всего бѣгство отъ потерявшаго цѣну наслажденія жизнью. Конечно, культъ свободы выражается у нихъ по разному, и, пока одинъ съ волненіемъ обнимаетъ гордый идолъ личной свободы, другой готовится бороться за свободу отчизны, но это не нарушаетъ значительнаго сходства между ними. Съ одной стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія, что и для плѣнника въ идеалъ свободы вообще входитъ политическая свобода, и что пѣсни, которымъ онъ внималъ съ такимъ волненіемъ, внушались не одной дикой волей, но и святой вольностью; съ другой стороны, и герой Посланія не обладаетъ яснымъ пониманіемъ соціальнаго значенія свободы, и переживаетъ ее не какъ общественное благо, бороться за которое — непремѣнный долгъ каждаго человѣка, а какъ нѣчто такое, чѣмъ горитъ его душа. Онъ вступаетъ въ борьбу только потому, что разочаровался во всемъ остальномъ, и только до тѣхъ поръ, пока свободою горитъ, а не изъ чувства долга и обязанности. Политическая дѣятельность

[1]) Дашкевичъ, op. cit, 82.

является для него такимъ же разрѣшеніемъ извѣстной страсти, какъ и убійство Земфиры и т. п. Черты личнаго произвола отмѣчаютъ ее въ такой же мѣрѣ, какъ и все активное содержаніе его жизни. Откройся передъ нимъ новые горизонты, хотя бы въ видѣ дикой воли Кавказа, и онъ бросится навстрѣчу ей, позабывъ о всякой политикѣ; случись маленькая заминка въ его дѣятельности, и онъ горделиво откажется отъ нея, провозгласивъ свои политическіе идеалы такимъ же утреннимъ туманомъ, какъ любовь и надежду, и обрушивъ энергичныя проклятія на голову тѣхъ, которымъ онъ только что собирался пожертвовать собой.

Но этическіе взгляды Пушкина не только сказались на эмоціональной структурѣ его соціально-политическаго міровоззрѣнія, но и тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ положительнымъ содержаніемъ этого послѣдняго. Вѣдь политическія убѣжденія поэта, поскольку вообще можно говорить о нихъ, несомнѣнно носили на себѣ печать французскаго „героическаго раціонализма“, идеи котораго господствовали тогда среди радикально настроенныхъ группъ петербургскаго общества [1]). А героическій раціонализмъ является, въ сущности, проявленіемъ той же идеологіи, какъ и эпикуреизмъ, съ той только разницей, что послѣдній представляетъ собою примѣненіе высшихъ принциповъ этой идеологіи къ проблемѣ непосредственнаго самоопредѣленія конкретнаго „я“, а первый—къ системѣ объективнаго познанія дѣйствительности. И тутъ и тамъ благо личности является высшей цѣнностью, цѣлью и причиной каждаго отдѣльнаго волевого проявленія; но въ то время, какъ въ эпикуреизмѣ подъ этимъ благомъ подразумѣвается „мое“ благо, благо непосредственно даннаго самосознанія, героическій раціонализмъ мыслитъ его, какъ благо „человѣка вообще“. Но и въ томъ и въ другомъ ученіи высшія основоположенія и критеріи одни и тѣ же, и эгоцентризму перваго строго соотвѣтствуетъ антропоцентризмъ

[1]) Ср., въ особенности, В. И. Семевскаго, op. cit.

второго, такъ что въ цѣломъ они образуютъ двѣ взаимно дополняющія системы субъективно-индивидуалистическаго и объективно-соціологическаго эйдаймонизма.

Отраженіе этого послѣдняго на частныхъ историческихъ и политическихъ оцѣнкахъ Пушкина намъ и предстоитъ сейчасъ прослѣдить. Но прежде, чѣмъ перейти къ выполненію этой задачи, мы должны отмѣтить главныя черты соціологическаго эйдаймонизма вообще, въ томъ видѣ, какъ онъ сформировался къ послѣдней четверти 18-го столѣтія.

Философія французскаго просвѣщенія является синтезомъ двухъ, строго говоря, противорѣчивыхъ началъ: воззрѣній и методовъ точной науки, вполнѣ оперившейся къ этому времени, и взглядовъ и пріемовъ мышленія метафизическаго раціонализма. Обѣ эти черты сказались и въ ея историко-философской концепціи. Съ одной стороны, стоя на почвѣ грубо понятаго эмпиризма, она сводила всѣ человѣческія чувствованія на переживанія удовольствія и неудовольствія и, чрезвычайно упрощая эмоціональное сознаніе человѣка, отрицала или—въ лучшемъ случаѣ—признавала несущественными всѣ идеальныя стремленія человѣческаго духа и объявляла основой всѣхъ волевыхъ движеній стремленіе къ наслажденію;—съ другой же стороны оставаясь вѣрной хранительницей раціоналистической традиціи, она интеллектуализировала самую волю, и, выставляя основаніемъ каждаго человѣческаго поступка разумное разсужденіе, превращала его въ разрѣшеніе какой-то математической задачи. Въ грубой схемѣ цѣлью и причиной каждаго проявленія индивидуальной и соціальной воли признавалось достиженіе чувственнаго блага, при чемъ самъ актъ облекался въ форму разумнаго разсчета.

Но при такой постановкѣ вопроса искажалось, вѣрнѣе, совершенно уничтожалось самое понятіе общества. Съ одной стороны, тутъ въ корнѣ отрицалась самая возможность особой, соціальной телеологіи, т. е. такихъ цѣлей общественнаго про-

гресса, которыя бы объяснялись изъ природы самого общества, а не произвольно приписывались ему на основаніи характера индивидуальной психики, съ другой стороны, оставалась незамѣченной ирраціональность соціальнаго явленія, которое вкладывалось въ тѣсную рамку разумнаго разсужденія. Умственному взору проповѣдника раціоналистическаго эйдаймонизма общество представлялось не сложнымъ, самостоятельнымъ организмомъ, возвышающимся по своей генетической и телеологической структурѣ надъ отдѣльной личностью и развивающимся по своимъ собственнымъ, внутренне-необходимымъ законамъ, независимымъ отъ индивидуальнаго произвола, а простымъ собраніемъ отдѣльныхъ личностей. Понятіе соціальной воли сводилось къ понятію математической суммы единичныхъ воль, и едва ли не всѣ формы человѣческой жизни выводились изъ сознательнаго поведенія единичнаго человѣка, а всѣ соединенія людей разсматривались, какъ нѣчто механическое. Строго говоря, понятіе исторіи общества, какъ закономѣрнаго процесса, каждый моментъ котораго имманентно обоснованъ въ предшествующемъ и, въ свою очередь, обусловливаетъ послѣдующій, вовсе отсутствовало въ этомъ міровоззрѣніи, его замѣняли исторія заблужденій и ошибокъ, совершенныхъ человѣчествомъ на пути къ достиженію блаженства. Иными словами, идеологическая концепція просвѣщенія совершенно игнорировала понятія соціальной психологіи и соціальнаго прогресса, выдвигая на передній планъ упрощенно понимаемую психику отдѣльной личности. Этимъ достигалось полное раціонализированіе историческаго процесса, и, подобно тому, какъ въ оцѣнкѣ поведенія отдѣльной личности психологическая этика оперировала по преимуществу съ критеріемъ разумной полезности, точно также этотъ критерій получалъ доминирующее значеніе и въ оцѣнкѣ историческихъ событій, причемъ совершенно упускалось изъ виду, что развитіе общества, быть можетъ, вовсе не заключается въ осуществленіи

индивидуально-полезнаго и, во всякомъ случаѣ, идетъ къ своимъ цѣлямъ отнюдь не кратчайшими, разумнѣйшими путями, а нерѣдко самыми запутанными и странными, причудливость которыхъ объясняется лишь изъ особенностей самого общества, какъ надъ-индивидуальнаго, самостоятельнаго цѣлаго.

Изъ этого основного воззрѣнія на общество вытекалъ цѣлый рядъ логическихъ слѣдствій, опредѣлявшихъ характеръ частныхъ оцѣнокъ историческихъ событій, планы реформированія общественной жизни и отношеніе между вождемъ и народной массой.

Прежде всего уничтожалось понятіе непрерывности соціальной эволюціи. Послѣдующія формы соціально-политическаго бытія разсматривались не какъ необходимый продуктъ предшествующаго состоянія общества, но какъ нѣчто обоснованное въ самомъ себѣ, *въ разумности* своихъ теоретическихъ посылокъ. Отсюда вполнѣ логически дедуцировалась возможность абсолютнаго переустройства жизни на новыхъ началахъ. Для этого признавалось вполнѣ достаточной или разумная воля отдѣльнаго лица, облеченнаго всею полнотою власти, или же энергическая дѣятельность небольшой группы лицъ, могущихъ выполнить благодѣтельный переворотъ съ помощью народа или одного класса общества, которые, понявъ разумность предпринимаемыхъ мѣръ, не могли отказать въ своемъ содѣйствіи для ихъ осуществленія.

Революціонность, т. е. крѣпкое убѣжденіе въ возможности рѣзкаго и полнаго переустройства жизни, являлась необходимымъ дополненіемъ раціоналистическаго эйдаймонизма въ соціологіи, и если и происходили извѣстныя колебанія въ этомъ отношеніи, то только по вопросу о томъ, кому играть роль Deus ex machina: абсолютному владыкѣ или же какой-нибудь общественной группѣ.

При такихъ условіяхъ крѣпость и устойчивость формъ общественной жизни, наличность сильныхъ традицій, суще-

ствованіе самостоятельныхъ и прочныхъ соціальныхъ образованій представлялось не только излишнимъ, но и прямо вреднымъ, такъ какъ эти образованія—чего не могли не видѣть, конечно, и сами революціонно-настроенные идеологи, оказывали значительное противодѣйствіе намѣченному переустройству общества. Напротивъ, чѣмъ расшатаннѣе и неопредѣленнѣе казались основные элементы соціальнаго цѣлаго, тѣмъ благопріятнѣе казалась историческая ситуація для революціонныхъ плановъ: тѣмъ легче было отдѣльной личности—просвѣщенному монарху или союзу передовыхъ людей—разрушить старое зданіе и возвести на его мѣстѣ новое, построенное по раціональному плану.

Эту точку зрѣнія мы находимъ и у Пушкина въ замѣчательныхъ разсужденіяхъ[1]) „Историческихъ замѣчаній“ по поводу попытокъ верховниковъ 18-го вѣка ограничить самодержавную власть:

„Петръ I, записываетъ онъ, не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, можетъ быть, болѣе чѣмъ Наполеонъ. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристократія послѣ него неоднократно замышляла ограничить самодержавіе; къ счастью, хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ, и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертой отъ существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостного состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только

[1]) Ср. отзывъ Ключевскаго: „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину“, стр. 275.

страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы" (т. VII, 21, 1822 г.).

Пушкинъ былъ противъ ограниченія абсолютизма въ пользу небольшой общественной группы, опасаясь возникновенія чудовищнаго феодализма и не замѣчая того, что это ограниченіе есть лишь первый шагъ на пути къ общему освобожденію. Сформированіе устойчивой соціально-политической группы, крѣпко держащейся за свои права и ограничивающей произволъ, смущало поэта. Она бы только помѣшала ожидаемому имъ мирному, но радикальному переустройству общества: освобожденію крестьянъ и политическому освобожденію націи. Въ справедливости этого утвержденія вполнѣ возможно усомниться. Исторія имѣетъ свою логику, и политическое освобожденіе одной соціальной группы необходимо должно было бы вызвать: первоначальное ослабленіе давленія государственной власти на всѣ сословія и классы, а затѣмъ и ихъ полное освобожденіе. И ежели бы крестьянство могло кое-что потерять въ экономическомъ отношеніи, то вся страна, несомнѣнно, выиграла бы въ обще-культурномъ развитіи.

Точка зрѣнія, выставленная Пушкинымъ, хороша только при условіи вѣры въ возможность внезапнаго переустройства жизни внѣ всякой зависимости отъ предшествующихъ историческихъ обстоятельствъ, при надеждѣ на революцію сверху или снизу. И эта вѣра была у поэта. Въ самомъ дѣлѣ: въ чемъ онъ видитъ условія, обезпечивающія успѣхъ реформъ? Предыдущая цитата даетъ на это совершенно недвусмысленный отвѣтъ: желаніе лучшаго объединяетъ всѣ состоянія и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы. Общее жела-

ніе лучшаго и единодушіе—вотъ и все, чего, по мнѣнію поэта, достаточно для грандіознаго преобразованія жизни огромной націи. Разсужденіе это вполнѣ въ тонѣ философіи просвѣщенія и страдаетъ тѣмъ же отсутствіемъ пониманія исторической необходимости формъ соціальной жизни, какое было указано выше. Любопытно, что позднѣе Пушкинъ будетъ отстаивать какъ разъ противоположную точку зрѣнія на значеніе дворянства, какъ самодовлѣющей, хорошо организованной группы, являющейся защитницей законности и права передъ верховной властью. Но тогда и исходное положеніе поэта будетъ совершенно инымъ: „stabilité—занесетъ онъ въ записную книжку—premiére condition du bonheur publique". (VII, 35, 1830—32 г.).

Въ „Историческихъ замѣчаніяхъ" Пушкинъ настроенъ очень оптимистически. Онъ вѣритъ, что единодушіе совершитъ переворотъ совершенно мирно, безъ всякихъ ужасныхъ потрясеній. Но такое настроеніе было присуще ему далеко не всегда. Строго говоря, онъ не совсѣмъ ясно представлялъ себѣ самый характеръ грядущаго преобразованія и постоянно колебался между надеждой „на манію царя" и вѣрой въ насильственный, кровавый переворотъ. Иногда въ его поэзіи звучали ноты примирительнаго характера („Деревня"), иногда же она отражала неистовый революціонный порывъ:

Народы тишины хотятъ,
И долго ихъ яремъ не треснетъ.
Ужель надежды лучъ исчезъ?
Но нѣтъ,—мы счастьемъ насладимся,
Кровавой чашей причастимся,
И я скажу: Христосъ Воскресъ [1]). (I, 313, 1821 г.).

Но эти колебанія не вылились у поэта въ вполнѣ отчетливыя формы и вскорѣ были вытѣснены иными сомнѣніями, гораздо болѣе глубокими и значительными, потому что они

[1]) „Кинжалъ".

трактовали уже не о характерѣ переворота, а о самой возможности его. Трудно сказать, когда эти сомнѣнія впервые посѣтили мыслящаго Пушкина, однако, къ концу пребыванія его въ Кишиневѣ они окрѣпли уже настолько, что могутъ быть зафиксированы вполнѣ точно. Въ этомъ процессѣ постепеннаго разочарованія въ возможности осуществленія желанныхъ реформъ сыграли свою роль какъ и западноевропейскій революціонный опытъ, вліявшій на Пушкина черезъ посредство романтическихъ писателей, въ томъ числѣ Байрона, такъ и личныя наблюденія и выводы поэта. Съ одной стороны, онъ не могъ не видѣть европейской реакціи, которую онъ описалъ въ словахъ: „народы тишины хотятъ, и долго ихъ яремъ не треснетъ“; съ другой стороны, въ непосредственной близости отъ него, на его глазахъ разыгрался одинъ изъ послѣднихъ актовъ героической борьбы за освобожденіе: греческое возстаніе. Вотъ что онъ пишетъ по этому поводу: „Мы видѣли этихъ новыхъ Леонидовъ на улицахъ Одессы и Кишинева, со многими изъ нихъ были лично знакомы, и свидѣтельствуемъ теперь объ ихъ полномъ ничтожествѣ: ни малѣйшей идеи о военномъ искусствѣ, никакого понятія о чести, никакого энтузіазма“.

И таковы вожди, а что касается рядовыхъ участниковъ, то „константинопольскіе нищіе, карманные воришки, бродяги безъ смѣлости, которые не могли выдержать перваго огня даже плохихъ турецкихъ стрѣлковъ — вотъ что они“ (VIII, 54—55, 1823 г.). Разумѣется, такія впечатлѣнія не могли укрѣпить вѣру поэта въ грядущее пересозданіе жизни, особенно когда они слѣдовали или шли рядомъ съ такимъ воодушевленіемъ:

Возстань, о Грецiя, возстань!
Недаромъ напрягаешь силы,
Недаромъ потрясаетъ брань
Олимпъ, и Пиндъ и Θермопилы.
. . . . . .
Страна героевъ и боговъ,

Расторгни рабскія вериги,
При пѣньи пламенныхъ стиховъ
Тиртея, Байрона и Риги. (1823, II, 343—44).

На повѣрку, страна героевъ и боговъ давала воришекъ и бродягъ. Такія разочарованія не проходили даромъ и, слѣдуя одно за другимъ, невольно склоняли поэта къ разочарованію въ возможности реформъ и революціи и къ пессимистическимъ выводамъ въ области европейской и русской политической дѣйствительности.

Но, благодаря нѣкоторымъ обстоятельствамъ, разочарованіе это приняло совершенно особенный характеръ: первоначально сомнѣнія выразились не въ переоцѣнкѣ своей собственной программы и тактики, а всей тяжестью обрушились на народъ, неспособную къ разумному достиженію возвышенныхъ цѣлей толпу. И причины, обусловившія такое направленіе разочарованія въ былыхъ вѣрованіяхъ, коренились въ томъ же раціоналистическомъ пониманіи общества, о которомъ мы говорили выше.

Дѣло въ томъ, что, аннулируя понятіе общности, какъ самостоятельно и закономѣрно развивающагося начала и сводя понятіе общества къ понятію математической суммы единичныхъ воль, французскій раціонализмъ дѣлалъ невозможнымъ для личности постиженіе надъ-индивидуальнаго характера историческаго процесса. Въ ея соціальныхъ переживаніяхъ уже не оказывалось мѣста для тѣхъ покорно-торжественныхъ настроеній, которыя сопровождали созерцанія природы. Тамъ все было полно строгой необходимости, холоднаго величія огромнаго механизма, безстрастно развивающагося по непреложнымъ законамъ, подавляющаго впечатлѣнія чего-то высшаго, сверхъ-человѣческаго и единаго. Дальнія звѣзды высокаго неба нашептывали натурфилософу чудныя сказки о красотѣ и мудрости безконечной вселенной, навѣвали ему хотя и „леденящіе душу“ [1]), но все же

[1]) Выраженія П. Я. Чаадаева.

возвышенные и умиротворяющіе сны раціоналистическаго деизма, и упрекъ и протестъ замирали на его устахъ.

Тутъ, напротивъ, созерцаніе распылялось, раздроблялось. Умственный взоръ политика напрасно искалъ какого-нибудь единства, какого-нибудь стройнаго цѣлаго; общество неизбѣжно распадалось на тысячу и тысячу кусковъ и тѣ, кто всего-на-всего является носителемъ соціальнаго начала, играли роль этого послѣдняго. Вмѣсто общества оказывалась толпа людей, то единодушныхъ при заключеніи соціальнаго договора, то грызущихся изъ-за добычи, словно стая волковъ. Вниманіе созерцающаго переходило съ одной группы на другую, распредѣлялось между отдѣльными типическими личностями, каждая изъ которыхъ воспринималась чрезвычайно ярко и конкретно, возбуждая въ немъ то острую жалость и состраданіе, то гнѣвъ и отвращеніе, но не создавая въ итогѣ ничего новаго сравнительно съ индивидуальными образами, никакого величаваго, космическаго, если можно такъ выразиться, представленія. И, подобно тому, какъ въ раціоналистической философіи развитіе общества какъ-то безсознательно идентифицировалось съ развитіемъ отдѣльной личности, точно также и само общество превращалось у него въ отдѣльнаго человѣка. Раціоналистъ-эмпирикъ антропоморфизировалъ общество, а вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ человѣческій характеръ, характеръ отношенія къ отдѣльной личности, пріобрѣтали и его переживанія относительно общества.

Отсюда вытекали важныя особенности въ психикѣ героя раціоналистическаго склада. Служа народу, онъ разсчитывалъ на его непосредственную благодарность, выставляя извѣстныя программы, надѣялся на быстрое пониманіе ихъ значенія, стремясь къ опредѣленной цѣли, требовалъ точной исполнительности и, не находя ничего этого въ дѣйствительности, сердился, негодовалъ и проклиналъ народъ, словно это былъ его личный знакомый. Увѣренный, съ одной сто-

роны, въ безусловной полезности своихъ плановъ, не понимая, съ другой, внутренней необходимости народныхъ движеній, онъ, въ случаѣ неудачи своихъ предпріятій, обвинялъ во всемъ народъ, обрушивался на него съ жесточайшими упреками и, въ концѣ концовъ, завертывался въ романтическій плащъ величественнаго презрѣнія.

Въ эти же мотивы отливалось и разочарованіе Пушкина въ успѣхѣ политической дѣятельности. Ихъ можно подмѣтить уже въ драматическомъ отрывкѣ „Вадимъ“ отъ 1821—22 г.:

Безумные! Давно ль они въ глазахъ моихъ
Встрѣчали торжествомъ властителей чужихъ,
И вольныя главы подъ иго преклоняли?
Изгнанью моему давно ль рукоплескали?
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь...
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна ихъ любовь...
Но я не измѣню (III, 167).

Пока это только глухое недовольство: Вадимъ, несмотря на такое предосудительное поведеніе народа, не хочетъ измѣнять ему. Позднѣе самъ Пушкинъ поставитъ вопросъ гораздо рѣзче и рѣшительнѣе:

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя,—
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды...
Паситесь мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь;
Наслѣдство ихъ изъ роды въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ (II, 345, 1823 г.).

Силлогизмъ произведенія замѣчательно характеренъ: съ одной стороны, сѣятель съ благими мыслями и трудами, съ другой—народъ, который не желаетъ или не можетъ исполнить разумныхъ совѣтовъ; отсюда вполнѣ логическій выводъ: брань по адресу послѣдняго и умываніе рукъ. Эпиграфомъ Пушкинъ взялъ начало евангельской притчи: „Изыде сѣятель сѣять сѣмена своя", а въ письмѣ къ А. И. Тургеневу далъ слѣдующій комментарій къ стихотворенію: приводя отдѣльныя строфы изъ оды на смерть Наполеона, онъ замѣчаетъ по поводу заключительной:

Хвала! Онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ (I, 298, 1821 г.)

„Эта строфа нынѣ не имѣетъ смысла, но она писана въ началѣ 1821 г. Впрочемъ, это мой послѣдній либеральный бредъ: я закаялся и написалъ на-дняхъ подражаніе басни умѣреннаго демократа I. X. (А. И. Тург., изъ Одессы, I/XII 1823 г., т. VIII, стр. 51)

Конечно, это—иронія, и при томъ кощунственная: басня умѣреннаго демократа, говоритъ Пушкинъ о прекраснѣйшей притчѣ Евангелія, — но подъ покровомъ насмѣшки здѣсь скрывается гораздо болѣе значительный фактъ, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Фактъ этотъ — наполовину безсознательное отождествленіе политическаго вождя съ проповѣдникомъ.

Для сѣятеля Евангелія нѣтъ общества и законовъ его эволюціи; онъ обращается съ проповѣдью къ индивидуальнымъ моральнымъ сознаніямъ, къ тѣмъ, кто имѣетъ и кому будетъ дано, и къ тѣмъ, у кого нѣтъ и отъ кого отнимется; ему нѣтъ дѣла до географическихъ, національныхъ и культурныхъ различій, и онъ вправѣ дѣлить людей на сыновъ Царствія и сыновъ лукаваго, угрожая послѣднимъ пещью огненною, а первымъ обѣщая блаженство (Отъ Матѳея,

гл. 13, 3—42), потому что моральная и религіозная нормы не могутъ быть разсматриваемы съ точки зрѣнія причинной необходимости, а принадлежатъ царству свободы.

Но Пушкинъ присваиваетъ эту проповѣдническую психологію соціально-политическому реформатору.

Вмѣсто дипломатическаго такта и осторожности, тонкаго пониманія ирраціональности соціальнаго развитія и его внутреннихъ, непреложныхъ законовъ, надъ которыми не властна и въ которыхъ неповинна никакая индивидуальная воля, поэтъ надѣляетъ преобразователя общества тѣми же качествами, какъ и проповѣдника этическихъ истинъ, заставляетъ его трактовать народы, какъ благія и грѣшныя сердца людей, и даетъ ему право проклинать и благословлять то, гдѣ, строго говоря, нѣтъ ничего кромѣ сверхчеловѣческаго закона. И, широко пользуясь этимъ правомъ, онъ переходитъ отъ разочарованія къ разочарованію и кончаетъ горькой усмѣшкой надъ былымъ „либеральнымъ бредомъ“ и проклятіями по адресу народа.

„Косность Европы, успокоившейся на лонѣ реакціи, замѣчаетъ Н. О. Лернеръ, внушила поэту презрѣніе къ народамъ, достойнымъ своей участи, и онъ разочаровался въ томъ, во что недавно вѣрилъ: оставаясь „демократомъ“, сдѣлался „умѣреннымъ“. Отъ этихъ стиховъ вѣетъ холодомъ глубокаго скептицизма. Поэтъ одинаково презираетъ и глупыхъ овецъ, покорно дающихъ бить себя и стричь, и усердно стригущихъ ихъ пастырей“ [1]).

Таковъ второй итогъ первой стадіи духовнаго развитія Пушкина. Усвоивъ идеологію французскаго просвѣщенія и въ субъективной формѣ ученія о непосредственномъ назначеніи конкретнаго „я“ и въ объективной формѣ соціологической теоріи, онъ изъ обоихъ построеній сдѣлалъ послѣдніе выводы и пришелъ къ полному разочарованію и въ возможности личнаго счастья и въ плодотворности политической

[1]) Н. Лернеръ, Венгеровъ, т. III, 1823 г.

дѣятельности. А если сюда прибавить тѣ кишиневскія переживанія поэта, которыя создали необычайно дерзкое, пламенное кощунство „Гавриліады“, гдѣ забросана грязью Мадонна, и одесскіе уроки чистаго аѳеизма у глухого англичанина, „который исписалъ листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent createur et regulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души“,—то картина получается вовсе не утѣшительная.

Тутъ терпѣло крахъ цѣльное міровоззрѣніе, рушились привычныя традиціонныя вѣрованія и надежды, завершалась цѣлая полоса идейнаго развитія художественной литературы, и, зная огненный темпераментъ и необыкновенное теоретическое безстрашіе поэта, мы лишь съ трудомъ можемъ себѣ представить его душевное состояніе въ это трудное время. Во всякомъ случаѣ слѣды этого кризиса не изгладились до конца жизни Пушкина. Не смотря на то, что ему удалось освободиться отъ пессимизма, ноты глубокаго утомленія и разочарованія навсегда остались въ его творчествѣ, и, подкрѣпляемыя постоянными невзгодами, вылились въ циклъ великолѣпныхъ произведеній пессимистическаго тона, изъ которыхъ „Три ключа“ едва ли не лучшее:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежный—
Кипитъ, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья;
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ. (II, 52, 1827 г.).

III.

Однако эти пессимистическія ноты, какъ бы постоянны онѣ ни были, ни въ какомъ случаѣ не должны приводить насъ къ заключенію о „пессимизмѣ Пушкинскаго міровоззрѣ-

нія вообще". Пессимистомъ можетъ быть названъ лишь тотъ, кто не только констатируетъ перевѣсъ страданія надъ радостью въ человѣческой жизни, но и не находитъ никакихъ иныхъ критеріевъ, кромѣ гедонистическихъ, кто рядомъ съ отрицательной оцѣнкой міра съ эйдаймонистической точки зрѣнія признаетъ ничтожность всякихъ иныхъ оцѣнокъ, для кого вмѣстѣ съ возможностью прочнаго счастья исчезаетъ и вообще всякій смыслъ существованія, такъ что, отвергнувъ первое, онъ отвергаетъ жизнь. Но именно ничего подобнаго нельзя сказать о Пушкинѣ. Пессимистическая оцѣнка жизни, которая на минуту пріобрѣла первенствующее значеніе въ его сознаніи, постепенно стушевалась передъ идеями и переживаніями совершенно иного порядка и вошла въ составъ его міровоззрѣнія однимъ изъ существенныхъ, но вовсе не главныхъ элементовъ. Отвергнувъ жизнь съ точки зрѣнія личнаго счастья, Пушкинъ принялъ ее съ иныхъ точекъ зрѣнія, и это-то бодрое и ясное пріятіе міра просвѣчиваетъ во всѣхъ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, въ его реалистическомъ творчествѣ. Сохранивъ за собой скептическую позицію, онъ занялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и другія и именно на этихъ послѣднихъ базировалъ свое укрѣпленіе. Описать этотъ переходъ—задача ближайшаго изложенія.

Онъ совершался по двумъ направленіямъ: съ одной стороны, сами эйдаймонистическія цѣнности, въ реализаціи которыхъ разочаровался поэтъ, уступали мѣсто инымъ, абсолютнымъ, служить которымъ призвана личность, такъ что удовольствіе перестало быть для него смысломъ жизни, а эта послѣдняя превратилась въ актъ служенія; съ другой же, въ немъ развилось иное, болѣе глубокое и проникновенное пониманіе историческаго процесса, въ созерцаніи котораго его *я* забывало себя самого и жило одною жизнью съ жизнью великаго народнаго цѣлаго.

Вглядываясь пристально въ исторію разочарованій молодого Пушкина, мы можемъ отмѣтить слѣдующій чрезвычайно

любопытный фактъ: признавая за личностью право на бунтъ въ случаѣ неудовлетворенія ея законныхъ требованій, самъ поэтъ по мѣрѣ роста въ немъ пессимистическихъ настроеній постепенно вовсе отказывается отъ этого права и въ мрачномъ эпилогѣ „Цыганъ“ кончаетъ какою-то глубокою покорностью судьбѣ:

И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Уже кн. П. А. Вяземскій находилъ это окончаніе поэмы „слишкомъ греческимъ“,—ту же мысль повторяетъ и новѣйшій критикъ, замѣчая, что оно „сообщаетъ цѣлому резонансъ древней трагедіи рока [1]). И, дѣйствительно, въ заключительныхъ, очевидно приписанныхъ спустя нѣсколько времени строфахъ поэмы нѣтъ и слѣда былого вызова и былой заносчивости. Напротивъ: поэтъ здѣсь какъ бы сдается на капитуляцію судьбѣ и, утомленный непрерывными ударами, покорно складываетъ руки. Признавая вмѣстѣ съ Алеко цѣлью человѣческой жизни—счастье, рѣшая вмѣстѣ съ нимъ отрицательно проблему его возможности, онъ, однако, не желаетъ слѣдовать за своимъ „изгнанникомъ“ въ его бунтовщическихъ выходкахъ, въ его мести и борьбѣ. Въ „Цыганахъ“ онъ прощается со своимъ „байроническимъ“ героемъ, отказываясь отъ безцѣльнаго бунта, и идетъ на поиски новыхъ путей, увѣнчавшіеся, въ концѣ концовъ, полнымъ успѣхомъ.

Откуда же взялась эта покорность, этотъ отказъ отъ бунта?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, достаточно сравнить содержаніе эпилога съ декламаціей Алеко и Плѣнника. И тутъ и тамъ мы имѣемъ дѣло съ „жалобой героя“, съ печальной думой выдающагося человѣка о несовершенствѣ жизни и непрочности, даже невозможности счастья.

И, все же, какая разница между ними! Въ то время, какъ Плѣнникъ и Алеко обвиняютъ во всѣхъ своихъ невзгодахъ

---

[1]) Вяч. Ивановъ, вступит. ст. къ „Цыганамъ“ въ изд. Венгерова, III, 329.

людей съ ихъ коварствомъ и завистью, съ ихъ пороками и развращенностью, въ то время, какъ они во всѣхъ событіяхъ жизни видятъ проявленія автономной индивидуальной воли и даютъ свободу своему негодованію, эпилогъ возвышается до глубокаго созерцанія процесса жизни, какъ обнаруженія сверхъ-индивидуальной судьбы и на мѣсто человѣческихъ козней подставляетъ игру роковыхъ страстей и волю слѣпого случая. Тамъ виновникъ несчастій стоитъ рядомъ съ героемъ, встрѣчается съ нимъ на каждомъ перекресткѣ, кричитъ ему въ уши дерзкія оскорбленія и за спиной у него затѣваетъ злостную интригу; тутъ виновника совсѣмъ нѣтъ, потому что невозможно вѣдь признать таковымъ грозную необходимость, господствующую надъ всѣми людьми безъ разбора и настигающую каждаго, и праваго, и виноватаго. И само собой понятно, что, если рѣчи изгнанниковъ полны горькихъ проклятій по адресу общества, ихъ вскормившаго, то мрачное размышленіе эпилога ограничивается простымъ констатированіемъ неизбывности страданія, которому подчинены всѣ люди, и скорѣе скорбитъ надъ печальной участью человѣчества, чѣмъ обвиняетъ кого-либо.

Да и какъ въ самомъ дѣлѣ можно обвинять того, кто самъ является простой пѣшкой въ рукахъ судьбы, искать вины тамъ, гдѣ истинной причиной несчастья оказывается не единичная личность, а таинственная, могучая сила? Слово возмущенія замираетъ на устахъ созерцающаго роковую власть случая, и, конечно, бунтарское настроеніе едва ли совьетъ себѣ постоянное гнѣздо въ его сердцѣ. Бунтъ Алеко и Плѣнника былъ естественъ и понятенъ, потому что направлялся противъ дѣйствій автономной человѣческой воли, противъ вполнѣ конкретнаго объекта,—для автора эпилога бунтъ уже гораздо болѣе затруднителенъ, потому что ему пришлось бы возстать противъ рока. Его покорность всецѣло зависитъ отъ особенностей его созерцанія жизни, какъ процесса, надъ которымъ властвуетъ желѣзный законъ, и

онъ смиряется только потому, что уступать ему приходится не людямъ или толпѣ, но могучей судьбѣ.

И въ этомъ—значеніе пессимистическаго обобщенія для духовнаго развитія Пушкина. Пока въ немъ жила вѣра въ возможность счастья, какъ индивидуальнаго, такъ и соціальнаго, осуществить которое мѣшаютъ заблужденія и злая воля людей, пока наличность страданія въ мірѣ объяснялась имъ автономной человѣческой дѣятельностью, пока онъ былъ убѣжденъ, что формы человѣческой жизни — продуктъ свободнаго индивидуальнаго творчества и что человѣкъ и все человѣчество, понятое атомистически,—кузнецы своего счастья, до тѣхъ поръ переживаніе событій было бурно и неспокойно, созерцаніе жизни распылялось и, вмѣсто стройной картины, передъ поэтомъ вставала запутанная сѣть маленькихъ дѣлъ маленькихъ людей, противъ которыхъ въ его душѣ подымались раздраженіе и ненависть. Но какъ только отдѣльныя разочарованія сгустились въ пессимистическое воззрѣніе: „и всюду страсти роковыя и отъ судебъ защиты нѣтъ“,—передъ поэтомъ впервые выступила надъ-индивидуальная необходимость процесса жизни, отношеніе къ событіямъ стало спокойнымъ и безпристрастнымъ, а сама жизнь подчинилась объективному *закону*. Признаніе того, что не все въ человѣческой жизни зависитъ отъ самихъ людей, но есть и кое-что такое, что обусловлено причинами, независимыми отъ поведенія индивидуальной воли, впервые дано поэту въ формѣ пессимистическаго ограниченія. Раціоналистическій эйдаймонизмъ, который исповѣдывалъ поэтъ, привелъ его къ цѣлому ряду разочарованій и, изживъ самого себя, создалъ противоположную себѣ формулу фаталистическаго воззрѣнія. И это воззрѣніе не замедлило отразиться и на частныхъ взглядахъ поэта, измѣнивъ и углубивъ его пониманіе характера страсти и поведенія личности въ обществѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ изображеніе тѣхъ лицъ, которымъ противопоставленъ въ „Цыганахъ“ Алеко.

Послѣднимъ разочарованіемъ Алеко была измѣна Земфиры. Но эта измѣна изображена въ поэмѣ не какъ проявленіе свободной воли, не какъ дѣло рукъ человѣческихъ, а какъ ударъ судьбы, какъ обнаруженіе „роковой" страсти:

Старый мужъ, грозный мужъ,
Рѣжь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя,
Я другого люблю,
Умираю, любя.

Въ этихъ словахъ слышится уже не личная, моя любовь, не капризъ отъ нечего дѣлать или порывъ развращеннаго сердца, но голосъ какого-то стихійнаго чувства. Не Земфира полюбила,—роковая страсть вселилась въ нее; она не властна надъ собой, ею правитъ сверхъчеловѣческая воля, которой остается лишь пассивно подчиниться:

Рѣжь меня, жги меня,
Я тверда, не боюсь... .
Я другого люблю,
Умираю, любя.

Тонъ страсти вполнѣ трагическій: это уже не субъективный лиризмъ, но эпическій драматизмъ,—и Земфира первая воистину трагическая героиня Пушкина, трагическая въ томъ смыслѣ, что она вступаетъ въ конфликтъ съ жизнью, не въ силу личныхъ, отчетливо индивидуальныхъ стремленій, а, такъ сказать, по опредѣленію свыше, подъ вліяніемъ рокового, стихійнаго, а потому и надъсубъективнаго влеченія. Она обреченная судьбой, а не потерпѣвшая пораженіе благодаря своимъ личнымъ качествамъ. И любопытно, что страсть, которая владѣетъ Земфирой, не отвлеченная „страсть вообще", но вполнѣ конкретная, этнографически опредѣленная. Это любовь цыганки, начало ея въ органическихъ особенностяхъ

племени, она—присуща не отдѣльному лицу, но всему народу, „хору“, какъ сказалъ бы Вяч. Ивановъ, и только реализуется въ отдѣльныхъ его представителяхъ. Ея стихійность не трансцендентнаго порядка, а коренится въ ея соціальномъ характерѣ. Это голосъ цѣлаго народа, звучащій въ единичной личности, и, соотвѣтственно этому, сама Земфира изображена въ поэмѣ не какъ типъ или индивидуальность—для такой роли она слишкомъ блѣдна, блѣднѣе Заремы и Маріи,—но какъ представительница своего рода, носительница хорового начала: какъ цыганка. Этимъ въ сущности и исчерпывается ея опредѣленіе, какъ дѣйствующаго лица въ поэмѣ.

Такимъ образомъ тотъ резонансъ древней трагедіи рока, который звучитъ въ эпилогѣ, наложилъ свою печать и на всю поэму: при рѣшеніи проблемы счастья герой пьесы противопоставляется не человѣку, дѣйствующему автономно, а стихійному началу. Въ Земфирѣ страсть потеряла свое индивидуальное обличье и выступаетъ, какъ „хоровая“, а потому неподвластная отдѣльной личности, страшная въ своей строгой необходимости сила. Не люди владѣютъ страстями, страсти владѣютъ людьми, и источникъ этихъ страстей—хоръ.

Такъ изображено второе дѣйствующее лицо конфликта. Но въ поэмѣ внутренняя фатальная неизбѣжность событія не только изображается, но и дѣлается базисомъ для новаго міровоззрѣнія, комментируется теоретически. Этимъ комментаріемъ является идеологія стараго цыгана: если Земфира является въ поэмѣ представительницей безсознательной, стихійной страсти, то старый цыганъ выражаетъ собою сознаніе необходимости этой страсти. Его разговоры съ Алеко чрезвычайно поучительны:

Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходомъ
Равно сіянье льетъ она;

Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озаритъ,
И вотъ ужъ перешла въ другое,
И то не долго посѣтитъ.
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,
Примолвя: тамъ остановись!
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!
Утѣшься!..

Старикъ отлично понимаетъ фатальность страсти, настолько же неподвластной человѣческому произволу, какъ и движеніе луны. И тутъ и тамъ одинаково царитъ высшій законъ, и мстительность раздраженнаго самолюбія, и порывы ревности, и горькая мука покинутаго должны смириться передъ его роковой силой. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ старикъ. Гдѣ Алеко поспѣшилъ бы—

Тотчасъ вослѣдъ неблагодарной
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не вонзилъ?

тамъ старый цыганъ отдѣлывается простымъ афоризмомъ:

Вольнѣе птицы—младость!
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всѣмъ дается радость;
Что было, то не будетъ вновь.

Въ основѣ міровоззрѣнія стараго цыгана лежитъ фатализмъ, вѣра въ необходимость и неизбѣжность совершающагося, которое такимъ образомъ находится внѣ индивидуально-человѣческихъ вліяній. Жизнь человѣческая, личная и общественная, слагается не изъ однихъ автономныхъ дѣяній отдѣльныхъ лицъ, но и изъ фактовъ сверхъиндивидуальныхъ, подчиненныхъ своимъ законамъ, своему особому порядку, а потому и господствующихъ надъ отдѣльной волей. Поэтому человѣкъ долженъ умѣть подчиняться роковымъ силамъ, умѣть сторониться и пропускать мимо чужую стихійную

страсть и самому безвольно отдаваться общему теченію. „Гордость"—эгоцентризмъ губительна и для самой личности и для всего хора, потому что она требуетъ автономіи тамъ, гдѣ царитъ суровая необходимость. „Мы робки и добры душою", говоритъ старый цыганъ, и этимъ выражаетъ тотъ минимумъ условій, который обезпечиваетъ благополучіе личности въ обществѣ и безопасность общества со стороны отдѣльной личности.

Такимъ образомъ пессимистическое созерцаніе нанесло существенный ударъ соціологическому атомизму: личность имѣетъ дѣло уже не съ личностью и не со стадомъ, но съ силами высшаго, объективнаго порядка, составляющими двигательныя пружины соціальнаго бытія и властно проявляющимися въ отдѣльномъ индивидуумѣ. Это уже значительный шагъ впередъ, но еще далеко не все: смиренномудріе стараго цыгана не конечный пунктъ духовнаго развитія человѣка, но всего лишь исходная точка зрѣнія, на которой должно быть построено новое міровоззрѣніе.

И, прежде всего, идеологія старика совершенно не исключаетъ этической возможности бунта. Само собой разумѣется, что признаніе рокового характера событій уничтожаетъ какое бы то ни было оправданіе мести и казней, убійствъ и крови; само собой разумѣется, эгоистъ, требующій удовлетворенія и отвѣта отъ людей, не признающій за ними права на свободу,—безвозвратно осуждается этимъ міровоззрѣніемъ, но противъ того, у кого бы нашлось силы возмутиться противъ самой судьбы, лишающей его личнаго счастья, противъ такого бунтаря старый цыганъ не можетъ выставить ни одного серьезнаго возраженія. Конечно, самъ онъ не представляетъ себѣ возможности такого бунта, но вѣдь это—только потому, что онъ *„робокъ* и добръ душою". Обоснованіе покорности здѣсь очень жалкое и случайное: если онъ робокъ, то другой можетъ оказаться смѣлымъ, и тогда о смиренномудріи не придется и упоминать.

Въ самомъ дѣлѣ если даже допустить, что въ своемъ стремленіи къ счастью, законности котораго не отрицаетъ и старый цыганъ, личность сталкивается съ желѣзной необходимостью, то отсюда еще нельзя вывести этической законности покорности. Бунтовать безсмысленно, какъ безсмысленно биться головой объ стѣну, но вѣдь можно возстать противъ самой этой безсмысленности, противъ самого закона. Алеко жалокъ и ничтоженъ потому, что онъ обрушился на Земфиру, на того, кто простая пѣшка въ рукахъ рока, но онъ былъ бы воистину великъ и достоинъ всякаго уваженія, если бы возсталъ противъ самаго рока и, вознеся свой бунтъ на метафизическія высоты, бросилъ проклятіе въ лицо самой судьбѣ. Тогда бы онъ не только не казался „каррикатурой" (выраженіе Бѣлинскаго), но сдѣлалъ бы смѣшнымъ и жалкимъ самого стараго цыгана съ его робкимъ смиреніемъ въ прошломъ и настоящемъ.

Но Пушкинъ не могъ придать такого оборота событіямъ своей поэмы: въ силу своего личнаго характера, быть можетъ, въ силу особенностей русскаго національнаго склада (существуетъ мнѣніе, будто фатализмъ свойственeнъ русской душѣ), наконецъ, въ силу развитія своего таланта, неуклонно стремившагося къ требующему пріятія міра реализму, онъ не былъ способенъ возмутиться противъ судьбы: онъ бунтовалъ, пока рѣчь шла о людяхъ, и тотчасъ подчинился, когда постигъ роковой характеръ процесса жизни.

Ставя свою личность и личность вообще въ центръ всего совершающагося, дѣлая ея благо высшей этической цѣнностью, базируя всѣ свои оцѣнки на разумной полезности, поэтъ неизбѣжно долженъ былъ придти къ пессимизму, потому что космическій процессъ жизни вовсе не считается съ личностью и ея благомъ, а развивается по своимъ собственнымъ необходимымъ законамъ и къ своимъ собственнымъ таинственнымъ цѣлямъ. Но въ этомъ пессимистическомъ созерцаніи впервые дала знать ему о себѣ космическая необходимость, вос-

принятая первоначально поэтомъ въ формѣ безсмысленной слѣпой судьбы, которой онъ слѣпо же подчинился.

Но, подчинившись, онъ не могъ остановиться на этой робкой покорности стараго цыгана. Подчиненіе судьбѣ неминуемо должно было перейти у него въ пріятіе міра, которое, въ свою очередь, требовало новой точки зрѣнія на назначеніе человѣка и внутреннее значеніе случайнаго порядка вещей и событій. Поэтъ долженъ былъ, съ одной стороны, признать, что человѣкъ вовсе не созданъ для счастья, а для служенія высшему, и что поэтому онъ не въ правѣ требовать личнаго блага, а съ другой—ему надо было понять надъиндивидуальную необходимость жизни, не какъ игру слѣпого случая, а какъ могучую и цѣлесообразную силу, дѣйствующую имманентно въ человѣческомъ обществѣ и ведущую его къ реализаціи высокихъ цѣлей. Первое было дано въ новой оцѣнкѣ свободы, поэзіи и другихъ цѣнностей, анализъ которой не входитъ въ предметъ настоящаго очерка, второе—въ историческомъ созерцаніи, создавшемъ Бориса Годунова.

IV.

Если мы сравнимъ политическія и историческія настроенія сѣятеля и писемъ одесскаго періода съ настроеніями и взглядами „Цыганъ", то легко замѣтимъ значительное внутреннее противорѣчіе между ними. Въ то время, какъ въ поэмѣ уже отчетливо осознанъ роковой, неизбѣжный характеръ событій индивидуальной жизни, въ области историческихъ оцѣнокъ господствуетъ еще убѣжденіе во всемогуществѣ единичныхъ человѣческихъ воль, продуктомъ дѣятельности которыхъ является каждый фактъ соціальной жизни. Въ „Цыганахъ" это несоотвѣтствіе ничѣмъ не даетъ себя знать, потому что въ этой поэмѣ „хоръ" совершенно бездѣйствуетъ. Правда, онъ, повидимому, вполнѣ присоединяется къ рѣчамъ стараго цыгана, но не проявляетъ активно этого согласія: выступленіямъ Алеко не противопоставлены выступленія на-

рода, и вопросъ о характерѣ этихъ послѣднихъ и ихъ сравнительной цѣнности остается открытымъ. Однако, лишь только Пушкину пришлось изображать историческія событія, какъ новыя настроенія неизбѣжно сказались и въ историософическихъ построеніяхъ и повлекли за собой совершенно неожиданные и чрезвычайно плодотворные выводы.

Дѣло въ томъ, что, поскольку постиженіе внутренней телеологіи событій частной жизни является трудной и даже невозможной задачей, постольку же трудно и невозможно воздержаться отъ построенія извѣстной телеологической системы при анализѣ историческихъ событій. Историческая перспектива и особый характеръ познанія движеній огромнаго цѣлаго неизбѣжно приводятъ къ признанію той или иной цѣлесообразности процесса, такъ что историческій фактъ точно такъ же трудно изобразить въ видѣ безсмысленной игры роковыхъ случайностей, какъ и сконструировать телеологическую канву для біографіи отдѣльнаго лица. А въ силу этого тотъ самый слѣпой рокъ, господство котораго надъ частной жизнью получило свое признаніе въ „Цыганахъ“, —этотъ самый безсмысленный рокъ, пройдя сквозь горнило историческихъ розысканій, долженъ былъ неминуемо обратиться въ цѣлесообразную историческую необходимость, имманентно дѣйствующую въ процессѣ соціальнаго развитія, и породить вѣру въ безконечное совершенствованіе человѣка. И, дѣйствительно, такъ и случилось съ Пушкинымъ: послѣ созданія „Бориса Годунова“ его фатализмъ принялъ совершенно иной характеръ и послужилъ основаніемъ для новаго бодраго пріятія міра.

Такимъ образомъ, съ нашей точки зрѣнія, созданіе „Бориса Годунова“ является рѣшающимъ моментомъ въ развитіи пушкинскаго генія, той основной частицей, вокругъ которой совершалась кристаллизація его поэтическаго и теоретическаго творчества. „Борисъ Годуновъ“ открываетъ цѣлый рядъ историческихъ произведеній Пушкина и въ прозѣ („Пу-

гачевскій бунтъ", „Исторія Петра Великаго" и т. д.), и въ поэзіи („Полтава", „Капитанская дочка" и т. д.), и имъ же начинается эпоха того художественнаго идеалъ-реализма, которымъ по справедливости гордится русская литература. Само собой разумѣется, что и въ „Борисѣ Годуновѣ" мы не найдемъ отчетливо зафиксированной системы взглядовъ, но трагедія сама по себѣ представляла такой гигантскій внутренній опытъ, такую огромную комбинацію новыхъ эмоцій, что, создавъ ее, Пушкинъ не могъ удержаться на прежней позиціи и медленно, но неуклонно началъ приближаться къ новому міро-и жизневоззрѣнію.

13-го іюля 1825 года поэтъ писалъ кн. П. А. Вяземскому: „покамѣстъ, душа моя, я предпринялъ такой литературный подвигъ, за который ты меня разцѣлуешь: романтическую трагедію" [1]). Въ ноябрѣ того же года онъ сообщаетъ другу: „Трагедія моя кончена. Я прочелъ ее вслухъ одинъ и билъ въ ладони и кричалъ: ай да, Пушкинъ, ай да с..... с..." [2]). Ни однимъ своимъ произведеніемъ поэтъ не былъ такъ доволенъ, какъ „Борисомъ", ни одному не придавалъ онъ такого значенія, какъ этой „комедіи". Онъ надѣется, что царь проститъ его за эту трагедію; по его мнѣнію, „успѣхъ или неуспѣхъ ея будетъ имѣть вліяніе на преображеніе драматической нашей системы". „Хорошій или худой успѣхъ моихъ стихотвореній; благосклонное или строгое рѣшеніе журналовъ о какой-нибудь стихотворной повѣсти слабо тревожили мое самолюбіе. Сіе происходило не изъ презрѣнія, но единственно изъ убѣжденія, что для нашей литературы безразлично, что такая то глава „Онѣгина" выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспѣхъ драмы моей огорчилъ бы меня, ибо я твердо увѣренъ, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедіи Расина" [3]).

---

[1]) Т. VIII, 115.
[2]) Т. VII, 253.
[3]) Т. VIII, 141.

Послѣднія строки отчетливо показываютъ мотивы созданія трагедіи. Поэтъ преслѣдовалъ исключительно литературно-художественныя задачи: его цѣлью была реформа русскаго театра, замѣна ложно-классической театральной традиціи правилами Шекспировой драмы.

Попытка эта, какъ извѣстно, не увѣнчалась успѣхомъ; значительнаго вліянія на театръ „Борисъ Годуновъ“ не оказалъ и вообще былъ холодно принятъ публикой, и вина за этотъ фактъ отчасти лежитъ въ самомъ произведеніи: въ его несценичности, не только внѣшней—пьеса имѣетъ двадцать четыре (!) дѣйствія—но и внутренней—въ отсутствіи единаго драматическаго движенія.

Строго говоря, августѣйшій критикъ трагедіи былъ не совсѣмъ не правъ, когда „изволилъ на поднесенной по сему предмету запискѣ собственноручно написать слѣдующее: „Я считаю, что цѣль г. Пушкина была бы выполнена, если бы съ нужнымъ очищеніемъ передѣлалъ комедію свою въ историческую повѣсть или романъ на подобіе Вальтера Скотта“. „Борисъ Годуновъ“, дѣйствительно, сбивался скорѣе на эпическое повѣствованіе, чѣмъ на драму, и, поскольку Николай I хотѣлъ выразить эту мысль, онъ былъ также правъ, какъ и Надеждинъ, который въ своей статьѣ говоритъ слѣдующее: „Шекспировы хроники были писаны для театра и посему болѣе или менѣе подчинены условіямъ сценики. Но „Годуновъ“ совершенно чуждъ подобныхъ претензій (въ этомъ критикъ ошибался. *Б. Э.*) Діалогическая форма составляетъ только раму, въ коей Пушкинъ хотѣлъ воскресить для поэтическаго воспоминанія—говоря его же словами,—

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

Это рядъ историческихъ сценъ... *эпизодъ исторіи въ лицахъ* (курс. нашъ).

„Не Борисъ Годуновъ въ своей біографической недѣлимости составляетъ предметъ ея, а царствованіе Бориса Годунова,—

эпоха, имъ наполняемая, міръ, имъ созданный и съ нимъ разрушившійся, —однимъ словомъ, историческое бытіе Бориса Годунова" [1]).

Почти то же самое замѣчаетъ о трагедіи и Бѣлинскій: „Дѣйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорятъ, и мѣстами говорятъ превосходно, но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненныя высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій". „Борисъ Годуновъ" „совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ".

Съ основательностью этихъ утвержденій трудно не согласиться, и такимъ образомъ, приступая къ анализу „Бориса Годунова", мы сразу наталкиваемся на очень любопытный фактъ полнаго несовпаденія цѣлей творчества съ его результатами: желая реформировать законы театра, Пушкинъ создаетъ чрезвычайно несценичную пьесу, стремясь пересадить на русскую почву правила Шекспировой драмы, онъ до неузнаваемости измѣняетъ его „сценику" [2]), мечтая создать „романтическую трагедію", онъ полагаетъ начало реалистическому эпосу, потому что, если и говорить о потомкахъ „Бориса Годунова", то самымъ выдающимся изъ нихъ надо признать, конечно, не историческую драму Ал. Толстого или Островскаго, а историческій романъ „Война и миръ".

Обычное объясненіе этого страннаго явленія, впервые, если мы не ошибаемся, выставленное Надеждинымъ и повторенное позднѣе Бѣлинскимъ, гласитъ приблизительно слѣдующее: неудача замысла не вина поэта; ея причина—въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствовалъ содержаніе своей драмы. „Русская исторія до Петра Великаго тѣмъ и отличается отъ исторіи западно-европейскихъ государствъ,

[1]) Н. Надеждинъ. „Телескопъ", 1831 г., I. 4 (Зелинскій, ч. III (изд. 3), стр. 91—92).

[2]) Какъ указываетъ Ѳ. Батюшковъ (Венгеровъ, Пушкинъ, III). Пушкинъ и во внѣшней архитектурѣ пьесы слѣдовалъ столько же французской трагедіи, сколько и Шекспировой драмѣ.

что въ ней преобладаетъ чисто-эпическій, или, скорѣе, квіетическій характеръ, тогда какъ въ тѣхъ преобладаетъ характеръ чисто-драматическій".

Бѣлинскій очень тонко охарактеризовалъ историзмъ трагедіи, какъ эпическій и квіетическій, но объясненіе его свойствами русской исторіи нельзя не признать слишкомъ поверхностнымъ и мало убѣдительнымъ. Съ одной стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія, что время царя Бориса можно трактовать чрезвычайно драматически (вспомнимъ хотя бы фигуру Димитрія Самозванца), съ другой же стороны, ничто не мѣшало Пушкину взять для своей трагедіи матеріалъ изъ другой эпохи (хотя бы время Грознаго), гдѣ, во всякомъ случаѣ, нѣтъ недостатка въ драматическихъ положеніяхъ. И тезисъ Надеждина-Бѣлинскаго оставляетъ безъ отвѣта и то, почему Пушкинъ остановилъ свой выборъ на царѣ Борисѣ и почему онъ трактовалъ его съ такимъ эпическимъ квіетизмомъ.

По нашему мнѣнію, объясненія этому факту слѣдуетъ искать не въ особенностяхъ художественнаго матеріала, потому что уже самый этотъ матеріалъ представляетъ продуктъ субъективной переработки историческихъ данныхъ, а во взглядахъ и настроеніяхъ самого поэта, въ той идеологіи, которая сказалась въ драмѣ. Дѣло въ томъ, что, помимо своего значенія въ спеціально-художественномъ развитіи поэта, „Борисъ Годуновъ" составляетъ въ то же время необходимый и чрезвычайно существенный моментъ въ общей духовной эволюціи Пушкина, факты и законы которой чувствительно повліяли на процессъ художественнаго творчества, помѣшавъ осуществиться его имманентнымъ цѣлямъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, слѣдуетъ обратиться къ детальному разбору „драматизма" произведенія, который, какъ мы увидимъ, совпадаетъ съ разборомъ философской структуры произведенія.

Почти во всякой исторической драмѣ мы можемъ наблюдать два элемента: съ одной стороны, въ ней должно быть дано воспроизведеніе человѣческой психики соотвѣтственной

эпохи, ея нравовъ, убѣжденій, формъ жизни и т. д. и могущихъ возникнуть на этой почвѣ драматическихъ коллизій (т. е. драма историческаго быта), съ другой стороны, въ ней можетъ быть драматизировано какое-нибудь историческое событіе. И, само собой разумѣется, что напряженность драматическаго дѣйствія въ послѣднемъ случаѣ вполнѣ зависитъ отъ степени активности личности, изображаемой въ произведеніи и такъ или иначе связанной съ событіемъ. Само по себѣ историческое событіе лишено драматизма; оно пріобрѣтаетъ его лишь постольку, поскольку разсматривается какъ продуктъ дѣятельности индивидуальныхъ воль, поскольку оно распыляется въ созерцаніи автора на подвиги, столкновенія и борьбу интересовъ единичныхъ личностей. Драматизмъ присущъ только индивидууму въ его взаимоотношеніи съ внѣшней средой, и все совершающееся поддается драматизаціи лишь въ той мѣрѣ, въ какой оно совершается личностью.

Такимъ образомъ, если совершенное осуществленіе перваго элемента, т. е. воспроизведеніе бытовыхъ формъ, составляетъ проблему чисто-художественнаго порядка и обусловлено степенью спеціальнаго таланта автора, то успѣшность драматизаціи историческаго событія зависитъ не только отъ величины художественнаго дарованія, но и отъ тѣхъ общихъ чисто-теоретическихъ формъ, въ которыхъ происходитъ предварительное воспріятіе поэтомъ историческаго факта, т. е. отъ его историко-философскаго воззрѣнія. Карлейль создаетъ „героическую“ теорію историческаго прогресса и невольно драматизируетъ свое прозаическое изложеніе Великой революціи и, наоборотъ, поэтъ, который удѣляетъ личности лишь незначительную роль въ исторіи и стремится въ то же время драматизировать историческое событіе, неизбѣжно вводитъ въ свое произведеніе эпическій элементъ. Это какъ разъ и случилось съ Пушкинымъ.

Рука объ руку съ несценичностью пьесы идетъ тѣсно съ

ней связанное „недѣланіе" героевъ. Недѣланіе это, конечно, не означаетъ вялости героевъ въ частной жизни, но отсутствіе въ нихъ историческаго творчества, исторической активности. Герои драмы не совершаютъ на сценѣ историческихъ дѣяній, не дѣлаютъ исторіи. Они произносятъ длинныя рѣчи, мучаются угрызеніями совѣсти, влюбляются, плачутъ, но въ отношеніи къ исторической дѣятельности всѣ они остаются совершенно пассивными. Если угодно, они напоминаютъ членовъ какой-нибудь палаты депутатовъ, собравшейся на засѣданіе во время народнаго возстанія. Тамъ, гдѣ-то за стѣнами залы, бушуетъ народное „море-окіянъ", здѣсь царитъ растерянность и раздаются безконечныя, безпорядочныя рѣчи. Время отъ времени въ засѣданіе врывается съ улицы какой-нибудь депутатъ, бѣгавшій узнать, что тамъ дѣлается.—Волна растетъ, растетъ, уже готова обрушиться—кричитъ онъ. Одни дрожатъ отъ страха, другіе трепещутъ отъ радости, а рѣчи все продолжаются и продолжаются...

Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлаетъ въ минуту страшной опасности Годуновъ? Да, ровно ничего или почти ничего. Пораженный въ самое сердце возставшей изъ гроба тѣнью убіеннаго царевича, онъ мучается и трепещетъ; жалкому, полубольному, ему ничего не остается дѣлать, какъ жаловаться:

Душа горитъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста... (VII).

Разумѣется, при такомъ душевномъ состояніи серьезная и энергичная борьба невозможна. И Борисъ мечется, не зная, что ему предпринять. Единственный разумный поступокъ его носитъ совершенно палліативный характеръ: „взять мѣры сей же часъ, чтобъ отъ Литвы Россія оградилась заставами,

чтобъ ни одна душа не перешла за эту грань". А затѣмъ при наступленіи Самозванца онъ дѣлаетъ рядъ ошибокъ: то онъ отнимаетъ единственно-вѣрнаго ему Басманова отъ войска, хотя „онъ въ войскѣ былъ нужнѣй" (сц. X), то поручаетъ „уклончивому, но смѣлому и лукавому", по его же опредѣленію, Шуйскому великое дѣло успокоенія народа и пропускаетъ мимо ушей тонкій совѣтъ патріарха, то онъ... но, кажется, это и всѣ распоряженія Годунова [1]), о которыхъ говорится въ пьесѣ. Нѣтъ,—царь Борисъ не дѣлаетъ, да и не можетъ дѣлать исторіи.

Аналогично же положеніе Самозванца. Онъ тоже чрезвычайно пассивенъ и, если въ Борисѣ мы чувствуемъ нѣкоторую устойчивость, извѣстный историческій вѣсъ, то Гришка Отрепьевъ—простая пѣшка въ чужихъ рукахъ, легкая щепка, увлекаемая могучимъ потокомъ. Онъ имѣетъ значеніе не самъ по себѣ, а лишь постольку, поскольку имъ надѣляютъ его какія-то иныя силы. Не онъ дѣлаетъ исторію, а имъ дѣлаютъ ее другіе.

Влюбленный въ Марину, онъ засиживается въ Краковѣ у Мнишка, хотя ему чрезвычайно важно выиграть время, и уступаетъ только понуканіямъ возлюбленной:

...Ты медлишь, и межъ тѣмъ
Приверженность твоихъ клевретовъ стынетъ;
Часъ отъ часу опасность и труды
Становятся опаснѣй и труднѣе;
Ужъ носятся сомнительные слухи,
Ужъ новизна смѣняетъ новизну;
А Годуновъ свои пріемлетъ мѣры... (XIV).

И это совершенно вѣрно, но Самозванецъ забываетъ ради любви свои цѣли, свои планы, свое войско и повинуется лишь грозному окрику хитрой Марины. Впрочемъ, и въ походѣ онъ не лучше: проигравъ битву, онъ плачетъ надъ

[1]) Ср. еще мимоходомъ брошенныя приказанія въ сц. XVI.

трупомъ коня и засыпаетъ безпечно въ лѣсу, вызывая ироническое замѣчаніе Пушкина:

Пріятный сонъ, царевичъ!
Разбитый въ прахъ, спасаяся побѣгомъ,
Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя.
Хранитъ его, конечно, Провидѣнье,
И мы, друзья, не станемъ унывать (XX).

Про войско же его Пушкинъ отзывается еще пренебрежительнѣе:

Я самъ скажу, что войско наше дрянь.
Что казаки лишь только села грабятъ,
Что поляки лишь хвастаютъ да пьютъ,
А русскіе... да что и говорить! (XXII).

Подобно Борису, и Самозванецъ не совершаетъ историческихъ поступковъ: честь побѣды надъ царскими войсками и торжественнаго въѣзда въ Москву никоимъ образомъ нельзя приписать его личнымъ заслугамъ.

Но, быть можетъ, всѣ заботы, все дѣланіе исторіи перенесено на русскихъ бояръ, на польскихъ воеводъ, на римскихъ іезуитовъ? Нѣтъ,—и эти лица ничего не дѣлаютъ на протяженіи 24-хъ сценъ пьесы. Событія развертываются сами по себѣ, а всѣ они, и старшіе и младшіе герои трагедіи, посвящаютъ свое время разговорамъ и личной жизни. Никто изъ нихъ не является непосредственнымъ виновникомъ совершающагося.

Событія развертываются, сказали мы. Да, развертываются: идетъ война, города выдерживаютъ осаду или сдаются добровольно, Самозванецъ совершаетъ свой въѣздъ въ Москву, династія падаетъ, и т. д.

На протяженіи двадцати четырехъ сценъ пьесы совершается цѣлый рядъ крупныхъ историческихъ перемѣнъ. Но кто же, въ концѣ концовъ, творитъ эти перемѣны? Отвѣтъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: поскольку „Борисъ Годуновъ"—историческая трагедія, постольку ея героемъ является

не царь Борисъ, не Гришка Отрепьевъ, но весь русскій народъ. Въ движеніи народа—центръ тяжести историческаго содержанія пьесы, имъ объединяются отрывочные драматическіе элементы, на немъ сосредоточено вниманіе всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, его боятся и на него надѣются, его рѣшеній ждутъ и передъ ними трепещутъ. Среди шума и мельканія обыденной жизни, среди мелкихъ интригъ и происковъ, міръ" (это русское слово гораздо лучше греческаго „хоръ") творитъ судъ надъ несчастнымъ цареубійцей, и что въ немъ все дѣло, это отлично понимаютъ всѣ герои произведенія начиная съ царя Бориса:

Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ мнѣ сряду
Все снилося убитое дитя!
Да, да—вотъ что! Теперь я понимаю...
Но кто же онъ, мой грозный супостатъ?
Кто на меня? Пустое имя, тѣнь—
Ужели тѣнь сорветъ съ меня порфиру,
Иль звукъ лишитъ дѣтей моихъ наслѣдства?
Безумецъ я! Чего жъ я испугался?
На призракъ сей пойду—и нѣтъ его!
Такъ рѣшено: не окажу я страха—
Но презирать не должно ничего...
Охъ, тяжела ты шапка Мономаха! (X).

Онъ бодрится, но напрасно, онъ отлично понимаетъ могущество „тѣни", прекрасно знаетъ, почему недаромъ тридцать лѣтъ сряду ему все снилось убитое дитя [1]). Вѣдь онъ не глупѣе своихъ бояръ, которые такъ ясно сознаютъ серьезность положенія:

Сомнѣнья нѣтъ,—говоритъ Шуйскій,—что это самозванецъ,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Вѣсть важная! *И если до народа*

[1]) Ср. еще монологъ Годун. въ XXI сц.: „Онъ побѣжденъ,—какая польза въ томъ? Мы *тщетною побѣдой* увѣнчались".

Она дойдетъ, то быть грозѣ великой.

Такой грозѣ, подтверждаетъ Пушкинъ, *что врядъ царю Борису*

Сдержать вѣнецъ на умной головѣ (IX).

Опасенія ихъ сбываются цѣликомъ. Борису, въ лицѣ его сына, не удалось сдержать вѣнца на умной головѣ, и виновникомъ этого оказался народъ. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ, подводя итоги похода Самозванца на Москву, тотъ же перебѣжчикъ Пушкинъ на гордыя слова честнаго, но простоватаго Басманова: „А вы кого противъ меня пошлете? не казака ль Карелу? или Мнишка? Да много ль васъ? Всего-то тысячъ восемь!“—

Ошибся ты: и тѣхъ не наберешь.
Я самъ скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только села грабятъ,
А поляки лишь хвастаютъ да пьютъ,
А русскіе... да что и говорить?
Передъ тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чѣмъ мы сильны, Басмановъ?
Не войскомъ, нѣтъ, не польскою помогой,
А мнѣніемъ—да, мнѣніемъ народнымъ.
Димитрія ты помнишь торжество
И мирныя его завоеванья,
Когда вездѣ безъ выстрѣла ему
Послушные сдавались города,
А воеводъ упрямыхъ чернь связала?
Ты видѣлъ самъ: охотно ль ваши рати
Сражались съ нимъ? (XXII).

И Басмановъ, чувствуя свое безсиліе передъ тѣнью, за которую народное мнѣніе, вполнѣ соглашается съ Пушкинымъ:

Онъ правъ, онъ правъ: вездѣ измѣна зрѣетъ.
Что дѣлать мнѣ? Ужели буду ждать,
Чтобъ и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? *Не лучше ль*

Предупредить разрывъ потока бурный
И самому... (XXII).

Здѣсь въ повѣствовательной формѣ описывается ходъ историческаго дѣйствія драмы и точно указывается его виновникъ: исторію въ „Борисѣ Годуновѣ" дѣлаетъ не единичная личность, а весь народъ.

И въ этомъ выдвиганіи на передній планъ народа, какъ фактическаго двигателя исторіи, получаетъ объясненіе квіетическій характеръ трагедіи. То, что Бѣлинскій называетъ драматизмомъ, не могло, понятно, найти себѣ мѣсто тамъ, гдѣ героемъ дѣйствія является не отдѣльное лицо, но народная масса: вѣдь, эта послѣдняя не можетъ, разумѣется, сдѣлаться субъектомъ драматическаго движенія пьесы.

А вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшается отчасти и вопросъ о шекспиризмѣ Пушкина. Заимствовавъ у него многое въ художественномъ построеніи пьесы и въ изображеніи отдѣльныхъ типовъ, русскій поэтъ почти совсѣмъ свободенъ отъ особенностей шекспировскаго историзма. У Шекспира нѣтъ ни одной исторической драмы, въ которой народъ игралъ бы такую рѣшающую роль въ развитіи исторической интриги произведенія. Исторію у него дѣлаютъ короли, принцы и герои, одерживающіе блистательныя побѣды или организующіе коварные заговоры. Народъ же фигурируетъ у него развѣ въ качествѣ *клаки*, апплодирующей удачнику и, во всякомъ случаѣ, относится къ обстановкѣ пьесы; благодаря этому, все дѣйствіе драмы концентрируется на ея герояхъ, чѣмъ усиливается драматическій эффектъ цѣлаго.

Итакъ, исторію въ „Борисѣ Годуновѣ" дѣлаетъ самъ народъ. Дальнѣйшій анализъ долженъ отвѣтить на два вопроса: во имя чего онъ ее дѣлаетъ, т. е. каковы цѣли народнаго движенія, и какъ онъ ее дѣлаетъ т. е., каковъ характеръ народнаго движенія.

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо прежде всего установить, какъ ставилась Пушкинымъ проблема несчастнаго царствованія Бориса?

Традиціонное мнѣніе, разрушенное, впрочемъ, еще въ 1892 г. Н. П. Ждановымъ, указывало обычно на рабскую зависимость Пушкина отъ Карамзина. Какъ же представлялъ себѣ рѣшеніе этой проблемы знаменитый историкъ? „Въ основѣ карамзинской схемы лежало объясненіе хода исторіи изъ личныхъ пріемовъ княжеской тактики. Воля князей повергла Россію въ пучину гибели и та же воля вознесла ее на верхъ благополучія. Изъ этого основного принципа съ логической послѣдовательностью развивалась цѣлая система русской исторіи“ [1]). Къ этой формулѣ П. Н. Милюкова можно добавить слѣдующее: но надъ волей князей стояла воля Провидѣнія, которая карала и ихъ и черезъ нихъ весь народъ. Воля Всевышняго ограничивала мощь князей: грѣшникъ не могъ быть царемъ и княземъ, потому что гнѣвъ Господень тотчасъ обрушивался на него.

Это же заданіе было положено въ основу изображенія Борисова царствованія. Излагая избраніе Годунова на царствованіе, историкъ восклицаетъ: „Премѣнилось только имя царя: власть державная оставалась въ рукахъ того, кто уже давно имѣлъ оную и властвовалъ счастливо для цѣлости государства, для внутренняго устройства, для внѣшней чести и безопасности Россіи!

Казалось, что мудрость человѣческая сдѣлала все возможное для твердаго союза между Государемъ и Государствомъ; но сей человѣческой мудростью надѣленный правитель достигъ престола злодѣйствомъ. Казнь небесная угрожала царю преступнику и царству несчастному“.

Такова постановка вопроса у Карамзина: какъ бы ни былъ мудръ, разсчетливъ, прекрасенъ, какъ правитель, Борисъ—все равно: *онъ осужденъ Небомъ и въ Гришкѣ Отрепьевѣ Провидѣніе посылаетъ ему возмездіе* [2]).

[1]) П. Н. Милюковъ, „Главныя теченія русск. ист. мысли“, стр. (изд. 1-е).

[2]) „Ист. Госуд. Россійскаго“, т. X, 141; т. XI, 121; см. еще т. X, стр. 7—8, 43—44, 75—77, 93—94, 127—128, 130 и слѣд.

Пушкинъ принимаетъ эту схему формально, но вкладываетъ въ нее нѣсколько иное содержаніе. Онъ старается объяснить несчастье Борисова царствованія, не апелируя къ небу. Если Карамзинъ толкуетъ о „Божьемъ судѣ", то для Пушкина все дѣло въ „судѣ мірскомъ":

О, страшное, невиданное горе!
Прогнѣвали мы Бога, согрѣшили:
Владыкою себѣ цареубійцу
Мы нарекли—(V)

говоритъ Пименъ и въ этихъ словахъ выражаетъ „народное мнѣніе". Движеніе народа направлено къ осуществленію высшей справедливости, къ возстановленію попраннаго права и наказанію грѣшника. Тѣнь Димитрія, законнаго царя, пострадавшаго отъ Бориса, вопіетъ къ народу, и народъ единодушно откликается на ея призывъ. Онъ былъ равнодушенъ къ благодѣянію, онъ презрѣлъ свою пользу, но онъ, какъ одинъ человѣкъ, поднялся на защиту правды.

Въ глубокой тишинѣ монастырской кельи, въ бесѣдахъ съ Пименомъ, обдумываетъ свои планы и принимаетъ окончательныя рѣшенія чернецъ Григорій. Это великолѣпный символъ. Именно здѣсь, около Пимена, этого благороднаго представителя народной правды-истины, могла зародиться мысль о могуществѣ имени Димитрія, только здѣсь могло окрѣпнуть убѣжденіе въ неизбѣжность „мірского" *суда* надъ Борисомъ, только тутъ могло возникнуть пониманіе того, что народъ легче увлечь красивой сказкой о правдѣ - истинѣ, чѣмъ снискать его расположеніе щедрыми посулами и прямыми благодѣяніями.

Чтобы понять смыслъ и цѣли народнаго движенія при Годуновѣ, не нужно создавать теоріи о царѣ-избранникѣ и царѣ-узурпаторѣ [1]), и т. п. Цѣли эти уясняются гораздо проще изъ непосредственнаго содержанія драмы, изъ монолога Пимена, изъ завязки драматическаго дѣйствія, изъ рѣчей

[1]) Ср. И. Н. Ждановъ, „О др. Пушкина „Бор. Год." 1892 г., стр. 37.

дѣйствующихъ лицъ. То народное движеніе, которое описывается въ разсказѣ Пушкина о „мирныхъ завоеваніяхъ", не требуетъ иного объясненія, кромѣ этическаго: оно совершалось во имя высшихъ этическихъ цѣлей, и потому Борисъ Годуновъ, несмотря на свой умъ, свои таланты государственнаго человѣка, ничего не могъ подѣлать противъ него.

Итакъ, народъ возстаетъ во имя правды. Теперь,—чтобы закончить анализъ роли народа, какъ скрытаго двигателя историческихъ событій драмы, намъ остается выяснить, какія формы принимало это движеніе. Отвѣтомъ будетъ анализъ проблемы самозванства.

Какъ извѣстно, самозванство особенно привлекало вниманіе Пушкина въ его историческихъ изысканіяхъ. Начавъ его изученіе въ „Борисѣ Годуновѣ" съ фигуры Гришки Отрепьева, онъ продолжалъ заниматься имъ въ своей „Исторіи Пугачевскаго бунта" и „Капитанской дочкѣ." Два прекраснѣйшихъ произведенія поэта въ реалистической манерѣ посвящены этому странному явленію. Какой же внутренній смыслъ имѣло это изученіе?

Историческая идеологія французскаго Просвѣщенія, приверженцемъ которой, какъ мы уже видѣли, былъ Пушкинъ въ молодые годы, учила не только о разумности цѣлей историческаго прогресса (въ частности, объ ихъ разумной полезности, но и о разумности тѣхъ путей, которыми они достигаются (соот. неразумности, если общество заблуждается). Она вѣрила, что люди не только стремятся къ разумнымъ идеаламъ, но и выбираютъ для этого самую кратчайшую и удобную дорогу. Она предполагала, напримѣръ, что разъ люди поймутъ всю полезность (=разумность) республики или атеизма, то они добьются ихъ реализаціи самымъ разумнымъ способомъ: религію уничтожатъ par acclamation, а республику воздвигнутъ съ наименьшими издержками и жертвами. Прямолинейность составляла характерную черту не только гильотины, но и самой революціонной идеологіи.

И вотъ этой-то прямолинейности въ фактѣ самозванства наносился страшный ударъ. Вѣдь именно здѣсь рѣзче, чѣмъ гдѣ-либо, выступаетъ ирраціональность народнаго движенія, его причудливость и загадочность. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что именно эта сторона въ исторіи Гришки Отрепьева или Пугачевскаго бунта особенно интересовала Пушкина.

Въ самомъ дѣлѣ: какъ бы ни формулировать цѣли и средства этихъ движеній, ихъ ирраціональность, запутанность и двусмысленность всякій разъ не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Народъ совершаетъ „мірской судъ" надъ царемъ Борисомъ, судъ, который ведется во имя высшей справедливости и истины (такова, по крайней мѣрѣ, постановка вопроса у Пимена). Но прямымъ результатомъ этого суда является торжество безстыдной отваги вѣтренаго авантюриста, убіеніе невинныхъ Борисовыхъ дѣтей, поляки въ Москвѣ. Судъ, правда, совершенъ или почти совершенъ (ему помѣшала неожиданная смерть Бориса), но средства самыя нелѣпыя, но можно перевернуть эту формулу и сказать такъ: ловкій молодецъ хотѣлъ устроить переворотъ въ свою пользу и совершилъ его при помощи народа. Но, чтобы привлечь народъ на свою сторону, ему пришлось укрыться за тѣнь Димитрія, хотя, съ раціоналистической точки зрѣнія, посулы соціальныхъ льготъ были бы дѣйствительнѣе. И въ то же время народъ, возводя Самозванца на престолъ, удовлетворяетъ своему нравственному чувству и возстановляетъ попранную справедливость. Наконецъ, можно дать и третью версію того же факта, исходя изъ столь популярныхъ словъ Пушкина:

.... Попробуй самозванецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потѣха. (IX).

Народъ недоволенъ соціально-экономическими условіями своего существованія и жаждетъ облегченія. Поэтому онъ и

волнуется; онъ пристаетъ къ Самозванцу во имя личныхъ интересовъ экономическаго порядка, но какъ-то странно хватается за тѣнь Димитрія; результаты экономическаго движенія самые неожиданные: наказаніе Бориса и торжество проходимца.

Какую бы формулировку мы ни приняли, мы всюду наталкиваемся на полное несовпаденіе намѣренія съ исполненіемъ, съ одной стороны, и крайнюю причудливость въ выборѣ средствъ, съ другой. Чтобы осудить Бориса, народъ не возстаетъ противъ него, а пользуется Самозванцемъ. Самозванецъ, чтобы достичь престола, не выставляетъ просто программы соціальныхъ реформъ, которыя привлекли бы къ нему сочувствіе широкихъ массъ населенія, а прячется за „Димитрія воскреснувшее имя"; угнетенные слои населенія не возстаютъ прямо во имя улучшѐнія своей жизни, а волнуются яко бы ради возстановленія правды. Очевидно, что тѣ формы, въ которыя отливается народное движеніе, отнюдь не имѣютъ раціональнаго характера и, напротивъ, отличаются полной ирраціональностью, какой-то двусмысленностью и непослѣдовательностью. Народъ стремится къ извѣстнымъ цѣлямъ, но пути, которыми онъ къ нимъ приближается, отнюдь не кратчайшіе и не самые простые, наоборотъ: онъ словно нарочно выбираетъ самую сложную и извилистую дорогу. Прямолинейность не принадлежитъ къ числу достоинствъ историческаго процесса, и въ каждое тактическое вычисленіе необходимо вводить огромную поправку на всякаго рода отклоненія и странности.

Такимъ образомъ, субъектомъ историческаго дѣйствія драмы является народъ, движеніе котораго ирраціонально по формѣ и направлено къ осуществленію высшихъ этическихъ цѣлей. Къ такому выводу приводитъ насъ анализъ драматическаго содержанія пьесы въ его специфическихъ особенностяхъ: эпической манерѣ изображенія и квіетическомъ характерѣ дѣйствія.

Но, благодаря этому, вся драма получаетъ совершенно особый тонъ: въ ней снова звучитъ знакомый уже намъ „резонансъ древней трагедіи рока“. И царь, и Димитрій Самозванецъ, и тѣ остальные пройдохи и интриганы, въ сущности простыя пѣшки въ рукахъ судьбы, жалкія щепки, подхваченныя грознымъ потокомъ и образующія своимъ случайнымъ сцѣпленіемъ преграду, передъ которой волна на мгновеніе останавливается, чтобы затѣмъ съ новой силой разметать ихъ по разлившейся водѣ. Въ критической литературѣ много спорили о „геніальности“ Годунова и его промахахъ въ бѣдѣ. Строго говоря, вопросъ этотъ совершенно безразличенъ для развитія дѣйствія въ трагедіи. Геніаленъ Годуновъ или нѣтъ, дѣлалъ ли онъ ошибки или, напротивъ, сдѣлалъ все возможное для человѣка въ его положеніи— это ничего не измѣняетъ въ ситуаціяхъ пьесы. Годуновъ осужденъ заранѣе: ничто не можетъ ему помочь, всѣ побѣды его *тщетны*. Для Карамзина въ этомъ сказалась воля Провидѣнія, для Пушкина—приговоръ мірского суда. Съ того момента, какъ впервые прозвучало „Димитрія воскреснувшее имя“, судьба Годунова была рѣшена, и вся остальная драма—картина агоніи Борисовой. Эта неизбѣжность паденія царя-убійцы въ борьбѣ съ самозванцемъ прекрасно понимается всѣми дѣйствующими лицами. Мы уже цитировали слова Шуйскаго и Пушкина о „грозѣ великой“, таково же мнѣніе и злого Чернеца въ не вошедшей въ драму сценѣ: „*Дай мнѣ руку—будешь царь*“, также не сомнѣвается въ своей побѣдѣ и самъ Отрепьевъ:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла (XIV).

И дѣйствительно: для Гришки Отрепьева Борисъ—жертва, но жертвой Самозванца онъ становится только потому, что осужденъ міромъ, потому, что „нельзя молиться за царя-ирода: Богородица не велитъ“. Противъ него не только

бывшій черноризецъ и боярская интрига, но и самъ народъ. И въ этомъ его несчастье: съ людьми Борисъ бы справился, какъ справлялся онъ съ ними не разъ, съ народомъ онъ справиться не можетъ, потому-что народное движеніе фатально и необходимо. Онъ, прошедшій чистымъ и невредимымъ сквозь угарные годы царствованія Грознаго, ловкій дипломатъ и интриганъ, побѣдоносно разрушавшій всѣ козни и замыслы отдѣльныхъ людей, противопоставленъ въ драмѣ не заговору единицъ, а стихійному роковому движенію, и въ этомъ противопоставленіи усилій и стремленій индивидуальной человѣческой воли могучему натиску народнаго моря-океана подлинный трагизмъ пьесы, рѣзко отличный отъ драматизма Шекспировской хроники, которая изобразила бы Бориса *только* въ его столкновеніи съ боярами и Самозванцемъ, и роднящій ее съ античной трагедіей.

Появленіе такого настроенія въ трагедіи, настроенія, оказавшагося сильнѣе самого автора и помѣшавшаго ему осуществить свои замыслы, послѣ всего сказаннаго выше, не можетъ показаться удивительнымъ: оно тѣсно связано съ трагическими настроеніями „Цыганъ“ и является естественнымъ ихъ развитіемъ. Тамъ дерзкія эгоистическія думы и стремленія Алеко противупоставлялись стихійной роковой страсти, индивидуализировавшейся въ Земфирѣ, здѣсь тѣ же самые помыслы противопоставлены стихійному, роковому движенію народа. Тамъ хоръ бездѣйствовалъ: воля судебъ проявлялась только въ дѣятельности отдѣльной личности, здѣсь хоръ пришелъ въ движеніе, и надъиндивидуальная необходимость обнаружилась въ самомъ историческомъ процессѣ; тамъ судьба была, такъ сказать, трансцендентной, господствующей *надъ* событіемъ, слѣпой безсмысленной силой, тутъ она сдѣлалась имманентной самому процессу жизни, превратилась въ цѣлесообразную необходимость историческаго развитія. „Цыганы“ были попыткой особаго, трагическаго созерцанія жизни личности. „Борисъ Годуновъ“ является попыткой такого

же созерцанія исторіи. Выборъ Борисова царствованія не случаенъ: именно Годуновъ является наиболѣе трагической фигурой Карамзинской исторіи, героемъ, которому приходится бороться съ рокомъ: съ могучей народной стихіей. Не квіетизмъ и эпизмъ русской исторіи парализовали драматическій размахъ Пушкина, но фаталистическое настроеніе, овладѣвшее поэтомъ въ пору созданія трагедіи, заставило его остановить свой выборъ на томъ историческомъ моментѣ, гдѣ стихійное движеніе народа обрисовывается съ особенной отчетливостью. Когда поэтъ предпринялъ свой „подвигъ", образъ яркой и смѣлой личности, свободно преобразующей жизнь, уже успѣлъ потускнѣть въ его сознаніи, и онъ изобразилъ героя, заранѣе обреченнаго гибели всемогущей судьбой, выступающей въ формѣ стихійнаго народнаго движенія.

Но сходство между „Цыганами" и „Годуновымъ" не ограничивается близкимъ родствомъ общихъ настроеній произведеній, а можетъ быть наблюдаемо и въ частныхъ антитезахъ; тамъ мы имѣемъ рядъ: Алеко—роковая страсть Земфиры—эпическое смиренномудріе Стараго Цыгана; здѣсь: царь Борисъ—стихійное движеніе народа—историческій объективизмъ Пимена.

Въ лицѣ Алеко роковому теченію событій противопоставлялось эгоистическое міровоззрѣніе, въ лицѣ Бориса Годунова—раціоналистическая исторіософія французскаго Просвѣщенія. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно разобрать взгляды и настроеніе Годунова. Царь Борисъ слишкомъ уменъ, чтобы не понять ничтожества и случайности самого Григорія Отрепьева. На всемъ протяженіи драмы мы не встрѣтимъ у него иныхъ отзывовъ о Самозванцѣ, кромѣ презрительныхъ, потому что онъ отлично сознаетъ, что Отрепьевъ—простая пѣшка въ рукахъ судьбы, случайный поводъ для стихійнаго народнаго подъема. Но тѣмъ сильнѣе его чувства по адресу народа и тѣмъ яснѣе онъ ихъ выражаетъ:

... Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать,—
Но отложилъ пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.
Богъ насылалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они жъ меня, бѣснуясь, проклинали!
Пожарный огнь ихъ домы истребилъ,—
Я выстроилъ имъ новыя жилища:
Они жъ меня пожаромъ упрекали.
Вотъ черни судъ: ищи-жъ ея любви (VII).
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо,
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже (XXI).

Въ этомъ мнѣніи его поддерживаютъ отчасти искренне, отчасти по угодливости и окружающіе бояре. напримѣръ, Шуйскій, который, несомнѣнно, говоритъ не совсѣмъ то, что думаетъ:

Конечно, царь, сильна твоя держава;
Ты милостью, радѣньемъ и щедротой
Усыновилъ сердца своихъ рабовъ;
Но знаешь самъ: безсмысленная чернь
Измѣнчива, мятежна, суевѣрна,
Легко пустой надеждѣ предана,
Миновенному велѣнію послушна,
Для истины глупа и равнодушна,
А баснями питается она;
Ей нравится безстыдная отвага...

Такъ, если сей невѣдомый бродяга
Литовскую границу перейдетъ,—
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ
Димитрія воскреснувшее имя (X).

Въ этихъ высказываніяхъ и особенно въ монологѣ царя Бориса не трудно узнать воззрѣнія и настроенія Сѣятеля и Вадима:

Борисъ Годуновъ:

Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать.
Но отложилъ пустое попеченье:
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ.

Сѣятель (1823 г.):

Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя,
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды.

Вадимъ (1822 г.):

Безумные! давно ль они въ глазахъ моихъ
Встрѣчали торжествомъ властителей чужихъ
И вольныя главы подъ иго преклоняли?..
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь...
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна ихъ любовь.

Шуйскій:

Безсмысленная чернь
Измѣнчива, мятежна, суевѣрна,
Легко пустой надеждѣ предана,
Для истины глуха и равнодушна,
Мгновенному велѣнію послушна и т. д.

И изъ этихъ горькихъ размышленій послѣдовательно дѣлаются соотвѣтствующіе выводы:

Борисъ Годуновъ:

Лишь строгостью мы можемъ неусыпной
Сдержать народъ. Такъ думалъ Іоаннъ,
Смиритель бурь, разумный самодержецъ,
Такъ думалъ и его свирѣпый внукъ.

Сѣятель:

Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ нужно рѣзать или стричь;
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ!

Основной тонъ всѣхъ этихъ рѣчей—одинъ и тотъ же: раціоналистическое разочарованіе въ народѣ. Герой предполагалъ въ народныхъ массахъ разумное сознаніе своей пользы и разсчитывалъ пріобрѣсти его благосклонность всякаго рода щедротами и облегченіями. Стихійному народному движенію онъ приписывалъ опредѣленно утилитарныя цѣли, въ проявленіяхъ народныхъ симпатій и антипатій онъ видѣлъ актъ разумнаго разсчета и свободнаго осознанія фактовъ, и, согласно съ такими воззрѣніями, съ своей стороны стремился, по крайней мѣрѣ, хоть офиціально демонстрировать свою заботливость объ общемъ благѣ. И, конечно, герой ошибся въ своихъ разсчетахъ: подарками и милостями народа къ себѣ не привлечешь, точно такъ же, какъ и стремленіемъ къ общеполезнымъ цѣлямъ, потому-что стихійное народное движеніе не совершается по разумнымъ путямъ къ полезнымъ преобразованіямъ жизни, а реализуетъ высшія, сверхъ-полезныя цѣнности.

Отсюда систематическое непониманіе народа и постоянное раздраженіе на него. Народъ отказывается или слишкомъ небрежно относится къ царскимъ копеечкамъ, потому что, по его мнѣнію, раздѣляемому и образованнѣйшимъ Пименомъ и блаженнымъ Николкой, Богородица не велитъ молиться за царя-ирода. А царь Борисъ обвиняетъ народъ въ черной неблагодарности и полной испорченности, такъ

какъ предполагаетъ, что разумное накопленіе копеечекъ — высшая добродѣтель поведенія и высшая цѣль существованія каждаго добронравнаго и благовоспитаннаго народа.

Но неуспѣхъ заботливо обдуманной тактики тѣмъ чувствительнѣе для царя Бориса, что съ тѣмъ или инымъ результатомъ его дѣятельности тѣсно связана его собственная судьба. Сѣятель не былъ лично заинтересованъ во всякихъ соціальныхъ реформахъ и боролся безкорыстно, ради блага людей вообще; извѣдавъ неблагодарность и безуміе народа, онъ могъ свободно отойти въ сторону и заняться своими собственными дѣлами. Для Бориса такой выходъ изъ затруднительнаго положенія невозможенъ, такъ какъ онъ слишкомъ много потерялъ бы при этомъ. Поэтому его созерцаніе историческаго процесса не только антропоцентрично, но и субъективно въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова; его оцѣнки народной жизни опираются не на объективныя, выведенные изъ безпристрастнаго наблюденія надъ совершающимся критеріи, но на корыстные разсчеты и планы. Свои интересы онъ ставитъ въ центръ всего историческаго бываніе и съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ современныя ему событія, не стараясь постичь ихъ внутренней цѣлесообразности и необходимости; не постигая высшей цѣнности идеаловъ историческаго процесса и его ирраціональности, раздражаясь на внѣшнее безсмысліе народныхъ дѣяній, царь Борисъ, со своимъ утилитарно-раціоналистическимъ міровоззрѣніемъ, пытается противодѣйствовать фатальному массовому движенію и, заранѣе обреченный на неудачу, гибнетъ въ начинающейся смутѣ, увлекая за собой своихъ ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей.

Такова антитеза: съ одной стороны—народъ, возставшій во имя правды, съ другой, личность, разочаровавшаяся въ этомъ народѣ, не понимающая ни цѣлей, ни законовъ его движенія, усматривающая въ его дѣяніяхъ одно безуміе, неблагодарность, дерзость и т. д.

Каково же значеніе этой антитезы для самого Пушкина, какіе теоретическіе выводы онъ изъ нея сдѣладъ, каково, иными словами, его собственное мнѣніе о народѣ и его исторіи? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе важенъ, что мнѣніе Бориса и Шуйскаго о народѣ какъ будто подтверждается *художественнымъ изображеніемъ толпы* въ отдѣльныхъ сценахъ трагедіи, и особенно въ заключительной [1]).

Дѣло въ томъ, что, говоря о народѣ, какъ о настоящемъ героѣ историческаго дѣйствія драмы, мы имѣли въ виду не тотъ народъ, который непосредственно участвуетъ въ драмѣ, т. е. фигурируетъ на подмосткахъ сцены произведенія, но о томъ, о которомъ можно узнать только изъ устъ дѣйствующихъ лицъ, изъ монологовъ Пушкина, Шуйскаго, Пимена и пр. А, между тѣмъ, обѣ эти характеристики народа существенно разнятся другъ отъ друга: въ то время, какъ народъ повѣствованія имѣетъ вполнѣ опредѣленное „мнѣніе“ и выступаетъ въ трагедіи какъ могучая, непреодолимая сила, направленная къ реализаціи „суда“ надъ Борисомъ,—народъ сцены (въ чемъ легко убѣдиться, пробѣжавъ XI, XXIII и XXIV сц. трагедіи) изображенъ какъ безсмысленное и дикое стадо, идущее туда, куда его толкаютъ и вполнѣ оправдывающее презрительныя слова Шуйскаго. Благодаря этому, не только затемняется смыслъ антитезы и уменьшается напряженность трагизма произведенія, но и создается такое впечатлѣніе, словно въ драмѣ, а, слѣдовательно, и въ сознаніи Пушкина, существовало два представленія о народѣ, или, вѣрнѣе, представленіе о двухъ различныхъ народахъ: о народѣ, выразителемъ котораго является Пименъ, и народѣ, характеристика котораго дана въ рѣчахъ Годунова, такъ что оба окончанія пьесы: „народъ безмолвствуетъ“ и „народъ кричитъ: „Да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичъ!“

[1]) Этотъ фактъ далъ возможность покойному Павлову-Сильванскому говорить о тождествѣ взглядовъ Пушкина и Бор. Годунова.

одинаково возможны и выражаютъ собою лишь то противорѣчіе, какое проходитъ черезъ всю драму. Какъ же, однако, объяснить это странное сожительство двухъ, повидимому, противорѣчивыхъ мнѣній въ душѣ поэта? Намъ лично думается, что противорѣчія тутъ никакого нѣтъ, и оба взгляда всего-на-всего дополняютъ другъ друга: Пушкинъ въ силу своей огромной художественной интуиціи совершенно правильно воспринялъ фактическую противоположность „народа“ и „толпы“, но не сумѣлъ съ достаточной ясностью формулировать ее теоретически.

Народъ, какъ субъектъ историческаго процесса, народъ, какъ создатель системы объективныхъ цѣнностей, т. е. національной культуры, народъ, какъ носитель „мнѣнія“ и верховный судія (а мы увидимъ, что взрослый Пушкинъ не рѣдко аппелировалъ къ будущему суду народа на сужденія современной ему черни),—такой народъ не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ безформеннымъ скопленіемъ людей, которое населяетъ города и деревни опредѣленной территоріи. Въ первомъ случаѣ понятіе народа сводится къ понятію идеальной могучей силы, которая творитъ исторію и направлена на осуществленіе высшихъ цѣлей, во второмъ мы имѣемъ дѣло съ извѣстной суммой индивидуальныхъ воль, которая, правда, образуетъ нѣкоторое высшее психологическое единство—психологію толпы, но не имѣетъ этическаго опредѣленія. Народъ обнаруживаетъ себя только въ историческомъ процессѣ; представленіе о немъ дано исключительно въ историческомъ созерцаніи, а дефиниція его—въ системѣ историческаго познанія. Въ этомъ смыслѣ понятіе „народъ“ есть нѣчто искусственное и отвлеченное; оно возникаетъ только при наличности вполнѣ опредѣленныхъ познавательныхъ условій, при изученіи соціальной жизни въ исторической перспективѣ, и его необходимость обосновывается критически, т. е. изъ особенностей той формы мышленія, къ которой оно относится. Въ непосредственномъ воспріятіи представленіе „народъ“

не можетъ имѣть мѣста, и его замѣняетъ представленіе о толпѣ, съ ея своеобразной психологіей.

Но, разъ народъ не можетъ быть данъ въ прямомъ воспріятіи, то онъ не можетъ сдѣлаться и непосредственнымъ объектомъ художественнаго творчества, не можетъ быть воспроизведено въ объективномъ, наглядномъ образѣ, т. е. не можетъ стать субъектомъ драматическаго дѣйствія. Художественное возсозданіе народа возможно только въ повѣствованіи, объектомъ котораго является не непосредственно какое-нибудь массовое движеніе, но особая историческая форма созерцанія этого движенія. Поскольку же рѣчь идетъ о воспроизведеніи данныхъ непосредственнаго опыта, того, что видитъ и наблюдаетъ обыденное сознаніе, художникъ, если только онъ правдивъ и искрененъ, не можетъ изобразить ничего иного, кромѣ толпы, „простонародныхъ сценъ“ (по выраженію самого Пушкина).

Этотъ фактъ въ реалистическомъ творчествѣ можетъ быть наблюдаемъ повсемѣстно.

Трудно, напримѣръ, заподозрить Л. Толстого въ пренебрежительномъ отношеніи къ народу, а, между тѣмъ, тѣ сцены „Войны и мира“, гдѣ соціальное движеніе изображено непосредственно въ драматизированномъ изложеніи, по своему грубому и площадному характеру ничуть не уступаютъ рисунку площадной жизни въ „Борисѣ Годуновѣ“. Сюда относятся прежде всего знаменитая сцена убійства Верещагина и крестьянскій бунтъ въ Богучаровѣ. И тутъ и тамъ на подмостки произведенія выведена та же безсмысленная и тупая чернь, которая фигурируетъ въ драмѣ Пушкина. Но, конечно, эти безотрадныя картины не имѣютъ никакого отношенія къ тому стихійному народному движенію, изображенію котораго посвящена историческая часть романа; представленіе объ этомъ послѣднемъ дано въ эпопеѣ не въ формѣ драматическихъ характеристикъ, а въ формѣ описательнаго повѣствованія. Чтобы изобразить народъ, Толстому пришлось исполь-

зовать не только всѣ поэтическія средства, вплоть до символизаціи, но и обратиться къ чисто-прозаическому изложенію цѣлой системы взглядовъ.

Аналогичное явленіе имѣетъ мѣсто и въ „Борисѣ Годуновѣ". Народныя сцены трагедіи ничего не говорятъ объ отношеніи къ народу самого автора. Ихъ характеръ объясняется требованіями правды и точности реалистическаго творчества и вытекаетъ изъ основаній эстетическаго порядка.

Если бы Пушкинъ приписалъ толпѣ—а только *толпу* онъ и могъ вывести *на сцену* своей трагедіи,—тѣ качества, которыя принадлежатъ *народу*, то онъ согрѣшилъ бы противъ исторической дѣйствительности, и вся его пьеса утратила бы свою искренность и правдивость и получила бы натянутый и искусственный характеръ. Самъ поэтъ отлично понималъ это, замѣчая о „Борисѣ Годуновѣ": въ немъ „есть шутки грубыя, сцены простонародныя. Поэту не должно быть площаднымъ изъ доброй воли, если можетъ избѣжать ихъ; если же нѣтъ, то ему нѣтъ нужды замѣнять ихъ чѣмъ-нибудь инымъ". (III, 254). Слѣдуя этому принципу, Пушкинъ и изображалъ толпу такъ, какъ если бы онъ въ качествѣ сторонняго человѣка воочію наблюдалъ ея движенія. Поэтому-то въ картинахъ жизни площади у него преобладаютъ мотивы безсмысленности, легкомыслія и перемѣнчивости, что вполнѣ соотвѣтствуетъ фактическому положенію вещей; онъ изображаетъ толпу такой, какой она есть на самомъ дѣлѣ, то жестокой и нелѣпой, то полной тревожнаго ожиданія и единодушнаго осужденія (XVIII сц., изображающая выходъ царя изъ церкви, полная сосредоточеннаго и вполнѣ опредѣленнаго, устойчиваго настроенія, гдѣ поэтъ геніально использовалъ образъ юродиваго).

Такимъ образомъ, судить о воззрѣніяхъ поэта на народъ по сценическому изображенію толпы, выдержанному при томъ въ великолѣпныхъ реалистическихъ тонахъ, не представляется, на нашъ взглядъ, никакой возможности: эти мас-

совыя сцены могутъ быть связаны съ самыми различными точками зрѣнія и сами по себѣ ничего не говорятъ ни за, ни противъ какой-нибудь изъ нихъ. Напротивъ, та характеристика народа и его роли въ развитіи историческаго процесса, которая составляетъ задній фонъ пьесы и обнаруживается лишь въ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ, скорѣе можетъ служить для выясненія историческаго міровоззрѣнія автора, особенно если въ произведеніи можно констатировать наличность соотвѣтствующаго ей историческаго созерцанія.

Въ „Борисѣ Годуновѣ“ эта новая форма историческаго переживанія дана въ міровоззрѣніи Пимена, и намъ, слѣдовательно, предстоитъ сейчасъ проанализировать этотъ образъ и найти доказательства его субъективности.

Пименъ является третьимъ лицомъ противопоставленія: царь Борисъ — народъ. Съ этой точки зрѣнія онъ даетъ полную аналогію Старому Цыгану: подобно тому, какъ міровоззрѣніе послѣдняго является теоретическимъ комментаріемъ къ роковой страсти Земфиры, точно такъ же и идеологія лѣтописца комментируетъ стихійное народное движеніе трагедіи. Въ поэмѣ Старый Цыганъ служитъ представителемъ безмолвствующаго хора,—въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пименъ олицетворяетъ „мнѣніе“ народной стихіи. Его дѣйствительное значеніе для цѣлаго драмы далеко не покрывается фактической ролью на сценѣ; появляясь на минуту въ моментъ экспозиціи и занимая вниманіе зрителя на протяженіи всего одного изъ двадцати четырехъ дѣйствій трагедіи, онъ въ то же время освѣщаетъ все произведеніе, придаетъ ему особый величаво-спокойный колоритъ и бросаетъ длинную тѣнь на всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Бѣжитъ ли окаянный рабъ Гришка Отрепьевъ за границу Литовскую, мучится ли царь Борисъ угрызеніями совѣсти или повелѣваетъ въ совѣтѣ, интригуетъ ли Шуйскій, развлекается ли безпечный Самозванецъ, убиваютъ ли московскіе граждане Борисовыхъ щенковъ, всюду за ними вы чувствуете незримое присутствіе

мудраго старца, видите его спокойную, достойную фигуру и слышите величавый голосъ: „а за грѣхи, за темныя дѣянья“...

Выбросьте изъ драмы Марину или Шуйскаго, Курбскаго или Патріарха,—драма останется, ея настроенія, ея общій обликъ будутъ прежними; выбросьте Пимена,—и „Борисъ Годуновъ“ перестанетъ быть тѣмъ, что онъ есть и чѣмъ долженъ быть: „комедіей о настоящей бѣдѣ Московскому государству, о Царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ“ и превратится въ жалкое подобіе Шекспировой хроники. Пименъ не только дѣйствующее лицо драмы, но и глубокій и прекрасный символъ: выходя изъ рамокъ реальнаго дѣйствія пьесы, обладая огромной цѣнностью и помимо той роли, какая отведена ему въ интригѣ, онъ утрачиваетъ свой реалистическій обликъ и становится символической фигурой, представляющей особыя формы созерцанія исторической жизни, даннаго въ цѣломъ произведенія и строго соотвѣтствующаго объективному художественному изображенію затронутыхъ въ немъ событій. Сущность этого новаго міросозерцанія можно выразить въ нѣсколькихъ словахъ: фатализмъ, объективизмъ и вѣра въ конечную этичность исторіи.

Развитіе историческаго дѣйствія въ пьесѣ отмѣчено печатью роковой необходимости, противъ которой безсильна индивидуальная воля. Такъ и понимается оно Пименомъ. Лѣтописецъ далекъ отъ того, чтобы видѣть въ исторіи дѣянія свободныхъ личностей Историческія событія не распыляются въ его воображеніи на тысячи и тысячи отдѣльныхъ человѣческихъ поступковъ, но сливаются въ единую величавую картину, объемлющую:

Войну и миръ, управу государей,
Угодниковъ святыя чудеса,
Пророчества и знаменья небесны,

картину, которая сама „проходитъ“ мимо, а не движется индивидуальными усиліями:

Минувшее проходитъ предо мною...
Давно ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся какъ море-окіянъ?
Теперь оно спокойно и безмолвно.

Въ воспоминаніи прошлое рисуется могучимъ моремъ-окіяномъ, въ пучинахъ котораго тонутъ отдѣльныя лица и поступки; тутъ post factum постигнута фатальная неизбѣжность всего совершающагося и безсиліе стремленій людей, уносимыхъ потокомъ времени. Въ „Цыганахъ" Старикъ сравниваетъ стихійную страсть Земфиры съ движеніями блѣдной луны, тутъ для процесса жизни вообще подысканъ соотвѣствующій образъ великаго моря, съ его колоссальной мощью и величавымъ спокойствіемъ, съ его вѣчнымъ прибоемъ и неизмѣнными приливами и отливами. И въ поэмѣ и въ трагедіи жизнь сравнивается съ явленіями природы, превращается въ феноменъ космическаго, а не частно-человѣческаго порядка и, соотвѣтственно этому, надѣляется сверхъиндивидуальной необходимостью и силой, которымъ остается покоряться. Мотивъ покорности также силенъ въ воззрѣніяхъ лѣтописца, какъ въ воззрѣніяхъ Старика. Онъ смиренно склоняетъ голову передъ волей Провидѣнія, проявляющейся въ исторіи, и не находитъ въ себѣ силъ для бунтарскихъ выходокъ и вообще протеста. Но въ то время, какъ Старый Цыганъ исповѣдуетъ слѣпое подчиненіе безсмысленному случаю, покорность Пимена обосновывается этически и религіозно; его христіанствомъ и вѣрой въ конечное торжество христіанской правды въ исторіи. Онъ убѣжденъ, точно такъ же, какъ и Самозванецъ, что

Не уйдетъ злодѣйство отъ суда,
И на землѣ, какъ въ вышнихъ передъ Богомъ.
(Варіантъ, III, 633.)

Историческій процессъ не только фатально-необходимъ, но и реализуетъ въ своемъ развитіи этическія цѣнности; это признаніе открываетъ новыя перспективы въ конфликтѣ лич-

ности съ соціальной средой, указывая на возможность этическаго пріятія фатальной эволюціи общества. Слѣпое подчиненіе переходитъ въ сознательное примиреніе съ человѣческимъ цѣлымъ, и въ этомъ отношеніи лѣтописецъ представляетъ гораздо болѣе высокую ступень сознанія, чѣмъ Старый Цыганъ.

Но цѣли, опредѣляющія направленіе историческаго развитія, носятъ въ этой идеологіи совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ тѣ, которыя могъ приписывать ему Сѣятель или Борисъ Годуновъ. Тамъ господствовало убѣжденіе въ безусловномъ значеніи полезнаго и конечной цѣлью прогресса объявлялось всеобщее блаженство, здѣсь, напротивъ, утилитарные критеріи потеряли всякую силу, и на передній планъ были выдвинуты абсолютныя цѣнности. Тамъ, иными словами, созерцаніе жизни было эгоцентрическимъ и, въ лучшемъ случаѣ, антропоцентрическимъ, здѣсь стихійная цѣлесообразность историческаго процесса была постигнута въ ея объективномъ значеніи. Сознавая роковую неизбѣжность событій, Старый Цыганъ могъ подняться до безпристрастнаго и спокойнаго анализа событій, но объективный смыслъ совершающагося оставался непонятенъ ему, такъ какъ онъ вѣрилъ, что счастье человѣка и людей, высшая, хотя и недостижимая, цѣнность; Пименъ, съ его религіознымъ идеализмомъ, напротивъ, былъ чрезвычайно близокъ къ полному объективизму этическихъ критеріевъ, почему ему и открылась возможность понять безотносительную къ человѣку, объективную темологію исторіи. Онъ объективенъ не только въ томъ смыслѣ, что не возбуждается лицепріятными чувствами при описаніи событій, но и въ томъ, что, отринувъ антропоцентрическіе критеріи, вѣритъ въ объективно идеалистическую цѣлесообразность историческаго развитія. Онъ, дѣйствительно, достигъ того момента, „когда все земное перестало быть для него занимательнымъ“, когда онъ въ состояніи отречься не только отъ выраженія личныхъ чувствъ, но и отъ человѣческой мѣры вообще, и пріобрѣсти

тотъ смиренно-величавый, чуждый всему злободневному духовный обликъ, который такъ восхищаетъ Григорія:

Какъ я люблю его спокойный видъ,
Когда душой въ минувшемъ погруженный
Онъ лѣтопись свою ведетъ...
Ни на челѣ его высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ:
Все тотъ же видъ смиренно-величавый...
Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,
Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно...

Такимъ образомъ историзму художественнаго произведенія, анализъ котораго былъ данъ выше, строго соотвѣтствуетъ историческое міровоззрѣніе одного изъ дѣйствующихъ лицъ; царю Борису и остальнымъ противопоставлено въ трагедіи не только стихійное народное движеніе, но и опредѣленная идеологія. Отсюда и возникаетъ символичность Пимена: въ этомъ образѣ концентрируется и окончательно раскрывается общее настроеніе произведенія, развивающее темы „Цыганъ".

Но значеніе образа лѣтописца простирается гораздо дальше: можно найти данныя, неопровержимо свидѣтельствующія о томъ, что Пушкинъ самъ стремился достичь высотъ пименовскаго созерцанія жизни и изображать историческую дѣйствительность подъ этимъ угломъ зрѣнія. Объ этомъ прежде всего говорятъ нѣкоторые аксессуары внѣшней формы трагедіи: распространенное названіе пьесы и ея многозначительный конецъ. Въ замѣткахъ, касающихся „Бориса Годунова", мы встрѣчаемъ такой проектъ заглавія: „Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому Государству, о царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ. Писалъ рабъ Божій Александръ, сынъ Сергѣевъ, Пушкинъ, въ лѣто 7333, на городищѣ Вороничѣ". Въ другомъ варіантѣ въ это заглавіе вставлены еще многозначительныя слова: „*лѣтопись о многихъ мятежахъ*". Тутъ, пожалуй, можно увидѣть шутку, легкую ри-

совку, но что это гораздо болѣе, чѣмъ кокетничанье, объ этомъ говоритъ серьезный *конецъ* произведенія [1]). „Конецъ комедіи, въ ней же первая персона царь Борисъ Годуновъ. *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь*". Послѣднія слова, какъ бы логически вытекающія изъ всего міровоззрѣнія Пимена, ясно обнаруживаютъ въ поэтѣ стремленіе пережить самому и заставить пережить другихъ отрывокъ исторіи въ формахъ лѣтописнаго созерцанія. Ему хочется взглянуть на исторію глазами Пимена: историческому изображенію онъ учится не только у Шекспира или Скотта, но и у древнихъ русскихъ хронистовъ, произведенія которыхъ были ему довольно хорошо знакомы [2]). Но, само собой разумѣется, что это стремленіе только отчасти увѣнчалось успѣхомъ: вполнѣ отождествиться съ Пименомъ Пушкинъ, конечно, не былъ въ состояніи, такъ что, усваивая себѣ воззрѣнія лѣтописца, поэтъ безсознательно приписывалъ этому послѣднему свои собственныя переживанія, субъективировалъ историческій типъ, вкладывая въ него „нѣчто отъ Гердера". Объ этой идеализаціи Пимена въ русской критикѣ говорилось не разъ, между прочимъ, и Бѣлинскимъ. „Пименъ, замѣчаетъ онъ, ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому, чѣмъ болѣе поэтическаго въ его рѣчахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: ни русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могла придти въ голову идея пименовскаго монолога, въ силу чего эти прекрасныя слова — ложь". Всѣ остальныя фигуры пьесы выдержаны въ строго реалистическомъ тонѣ, историческая правда соблюдена въ нихъ чрезвычайно строго, все произведеніе исполнено тонкихъ намековъ на историческую дѣй-

[1]) Строго говоря, именно этой фразой, а не ремаркой о поведеніи народа заканчивается произведеніе.

[2]) „Въ лѣтописи старался угадать *образъ мыслей и языкъ* тогдашняго времени" (III, 253).

ствительность, и только одинъ образъ—образъ Пимена—вышелъ изъ рамокъ историческаго правдоподобія, внося этимъ внѣшній диссонансъ (какъ символъ, онъ вполнѣ гармонируетъ съ цѣлымъ) въ стройную пьесу. Объяснить это странное явленіе можно только особой интимной близостью самого поэта къ создаваемому имъ типу: усваивая себѣ его воззрѣнія, онъ не могъ не вложить въ него нѣчто отъ своей личности.

Но, если это дѣйствительно такъ, если историческое міросозерцаніе Пимена является той точкой зрѣнія, съ которой Пушкинъ самъ желалъ разсматривать историческую жизнь, то мы въ вправѣ ожидать, что такое же настроеніе скажется и въ другихъ его произведеніяхъ, что драматическимъ монологамъ Пимена можно подыскать болѣе или менѣе полный аналогъ въ лирическихъ стихотвореніяхъ поэта. И дѣйствительно: въ одной изъ прекраснѣйшихъ вещей Пушкина, въ изумительныхъ по глубокому благородству строфахъ „19-го октября“ 1825-го года мы находимъ ту же гамму настроеній и точекъ зрѣнія, какъ и въ рѣчахъ лѣтописца.

Въ основѣ обѣихъ пьесъ лежитъ созерцаніе медленно движущагося времени, глубокое переживаніе постепенной смѣны событій жизни; ихъ содержаніе одинаково: это, по преимуществу, циклъ впечатлѣній, данныхъ въ воспоминаніи. И тутъ и тамъ распыленные и безпорядочные, жгучіе и волнующіе случаи, встрѣчи, приключенія, воспринятыя въ формѣ прошлаго, подъ знакомъ времени, теряютъ свою остроту и субъективную окраску и медленно сливаются въ единую стройную картину. Въ этомъ важнѣйшій фактъ вліянія исторіи: обернувшись въ историческій феноменъ, событіе стало доступнымъ объективному, безпристрастному созерцанію, укрѣпило и фиксировало опредѣленное смиренно-величавое настроеніе; подъ историческимъ угломъ зрѣнія, взятое въ прошломъ „волнующееся море-окіянъ“ стало „безмолвнымъ и спокойнымъ“. Занятіе исторіей открыло для Пимена и

Пушкина возможность постигнуть объективный смыслъ событій, создавъ въ нихъ спокойное и самоотрѣшенное настроеніе. Въ ихъ рѣчахъ за совершенно различной внѣшней оболочкой, за совершенно различными положеніями авторовъ слышится одинъ и тотъ же могучій, всеоправдывающій и всепримиряющій голосъ времени; ихъ воспоминаніе выдержано въ особомъ тонѣ, получающемся отъ смутнаго предчувствія вѣчности; оба они чужды отрывочнымъ настроеніямъ обыденности и подчинились торжественному паѳосу безконечной смѣны.

Правда, герой „19-го октября 1825“ имѣетъ дѣло не только съ прошедшимъ, но и съ настоящимъ и будущимъ; однако, и это обстоятельство не нарушаетъ однотонности произведеній. Во-первыхъ, и Пименъ въ дальнѣйшей бесѣдѣ съ Григоріемъ касается настоящаго и говоритъ о немъ, какъ мы увидимъ выше, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и авторъ „19-го октября“; а, во-вторыхъ, будущее является этому послѣднему не въ формѣ плѣнительной мечты, не въ видѣ ряда образовъ, богатыхъ содержаніемъ, а въ видѣ чисто формальной картины подъ знакомъ того же вѣчнаго движенія времени:

Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому жъ изъ насъ подъ старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній
Докучный гость, и лишній, и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Вотъ и все о будущемъ въ лирической пѣснѣ двадцатишестилѣтняго юноши. Все тотъ же размѣренный и торжественный глаголъ временъ: судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ. Лирическая эмоція развертывается постепенно, безъ

скачковъ и рѣзкихъ переходовъ; тонъ рѣчи величаво-спокойный; нѣтъ ни гнѣва, ни страстной скорби, ни ядовитыхъ укоровъ, ни горькихъ проклятій. Все проникнуто глубокой покорностью строгой судьбѣ, отрѣшеніемъ отъ минутныхъ интересовъ и волненій, необычайной приподнятостью духа.

Но обратимся къ детальному сравненію пьесъ.

V-ая сцена, гдѣ появляется Пименъ, даетъ такую обстановку: ночь; келья въ Чудовомъ монастырѣ; свѣтитъ лампада; въ углу спитъ Григорій; Пименъ одинъ среди окружающей тишины и всеобщаго сна.

А вотъ обстановка „19-го октября“:

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ,
Сребритъ морозъ увянувшее поле;
Проглянетъ день какъ будто поневолѣ
И скроется за край окрестныхъ горъ.
Пылай каминъ въ моей пустынной *кельѣ*...
А ты, вино, осенней стужи другъ,
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горькихъ мукъ.

Возсоздайте намѣченную въ этихъ строкахъ картину: темная осень въ глухой деревнѣ; одинокій помѣщичій домъ; пустынная комната-келья. Кругомъ безмолвіе; поэтъ одинъ, затерянный среди необозримыхъ лѣсовъ и полей Псковской губерніи, въ „надгробной тиши“ [1]) русскаго захолустья. И тутъ и тамъ переживаніе глубокаго одиночества, полной отрѣшенности отъ всего человѣческаго міра, отъ шума и грохота обыденной жизни. Гдѣ-то вдали кипитъ шумнымъ ключемъ городская жизнь, разыгрываются человѣческія страсти, раздаются пѣсни, смѣхъ, шутки. Здѣсь—безмолвіе, тишина, печать какого-то мертвящаго покоя.

Правда, Пименъ безстрастно взираетъ на все это: онъ приблизился къ тому времени, когда все земное перестало

[1]) Вар. III, 374, прим. 3.

быть для него занимательнымъ,—а поэту еще хочется окунуться въ волны быстротекущей жизни, но основное, фактическое настроеніе „безмолвнаго зрителя“, несомнѣнно, одинаково у обоихъ.

Далѣе начинается рядъ воспоминаній:

Передо мной опять выходятъ люди,—говоритъ Пименъ,—
Уже давно покинувшіе міръ,—
Властители, которымъ былъ покоренъ,
Князья, враги и старые друзья,
Товарищи мои въ пирахъ и битвахъ
И въ сладостныхъ семейственныхъ бесѣдахъ.
Какъ ласки ихъ мнѣ радостны бывали,
Какъ живо жили мнѣ сердце ихъ обиды [1]).

Личныя воспоминанія лѣтописца не идутъ дальше этого общаго описанія. Воспоминанія Пушкина живѣе, ярче и сложнѣе. Начинаясь такой же общей картиной, они въ дальнѣйшемъ конкретизируются, стремятся къ возсозданію отдѣльныхъ живыхъ образовъ:

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой,
Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой,
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, приникъ ласкающей главой...
Съ мольбой моей печальной и мятежной,
Съ довѣрчивой надеждой первыхъ лѣтъ,
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной,
Но горекъ былъ небратскій ихъ привѣтъ.

Это не укоры, не проклятья, но печальное констатированіе факта. Въ душѣ поэта нѣтъ ни гнѣва, ни ненависти, а „вдохновенное“ [2]) спокойствіе. Даже тамъ, гдѣ у него должно было проскользнуть глубокое равнодушіе или антипатія, онъ

[1]) Варіантъ, III, 633. Характерно, что именно эти строфы были выброшены при окончательной отдѣлкѣ произведенія, вѣроятно, какъ слишкомъ субъективныя.

[2]) „Я вдохновенъ... О, слушайте, друзья“, вар. III, 370.

какъ-то прячетъ ихъ въ томъ же переживаніи необходимой воли строгой судьбы:

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ—Фортуны блескъ холодный
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ же ты для чести, для друзей.
Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай, проселочной дорогой,
Мы встрѣтились и братски обнялись.

Такимъ же мотивомъ открывается и слѣдующее воспоминаніе, посвященное Дельвигу:

Когда постигъ меня судьбины гнѣвъ,
Для всѣхъ чужой, какъ сирота бездомный,
Подъ бурею главой поникъ я томной,
И ждалъ тебя, вѣщунъ пермесскихъ дѣвъ.
И ты пришелъ, сынъ лѣни вдохновенный,
О Дельвигъ мой! Твой голосъ пробудилъ
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный
И бодро я судьбу благословилъ.

Судьба, судьба!.. Озираясь на пройденный путь, поэтъ чувствуетъ роковую необходимость событій и покорно подчиняется ей. Но онъ уже научился объективной оцѣнкѣ, забвенію личныхъ интересовъ и счетовъ и умѣетъ найти объективное значеніе тамъ, гдѣ раньше онъ видѣлъ простое самодурство, небрежность или злой умыселъ. Ему много досталось отъ царя; онъ по всей справедливости имѣетъ право ненавидѣть привычнаго къ противочувствіямъ арлекина, но въ томъ безпристрастномъ, спокойномъ созерцаніи, которымъ онъ вдохновленъ теперь, мелкіе счеты перечеркнуты чертой забвенія и на передній планъ выступаютъ безспорныя историческія заслуги, то, смыслъ чего раскрывается только въ исторической перспективѣ:

Ура, нашъ царь! Такъ выпьемъ за царя!
Онъ—человѣкъ, имъ властвуетъ мгновенье,
Онъ—рабъ молвы, сомнѣнья и страстей;
Но, такъ и быть, простимъ ему гоненье:
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ Лицей.

Царь, какъ рабъ молвы, волненья и страстей, какъ гонитель и тиранъ, отдѣлился отъ царя, какъ побѣдителя Наполеона и создателя Лицея. Первый забытъ, второй вошелъ въ воспоминаніе, принявшее форму историческаго созерцанія, и удостоенъ чести „за славу, за добро". Еще рѣзче этотъ мотивъ выступаетъ въ слѣдующей строфѣ:

Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,
Къ устамъ поднявъ признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

Тутъ полное торжество объективизма, забвенія личныхъ переживаній. Историческій масштабъ примѣненъ къ оцѣнкѣ близкой дѣйствительности, историческое созерцаніе объемлетъ и событія текущей жизни, реализуя на дѣлѣ пожеланія лѣтописца:

Да вѣдаютъ потомки православны
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ,
За ихъ труды, за славу, за добро,
А за грѣхи, за темныя дѣянья
Спасителя смиренно умоляютъ.

Вѣдь, строго говоря, весь этотъ отрывокъ прекрасно передается краткой формулой:

Не помня зла, за благо воздадимъ.

Отъ воспоминаній „19-ое октября" переходитъ къ оцѣнкѣ настоящаго: къ оцѣнкѣ собственной жизни и поведенія поэта и такъ называемыхъ жизненныхъ благъ:

Но я любилъ уже рукоплесканья,—
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;

Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,—
Ты геній свой воспитывалъ въ тиши.
Служенье музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты.
Опомнимся—но поздно! И уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было,
Мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ?
Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый другъ.

Безпокойной и легкомысленной погонѣ за мелкими удовлетвореніями личнаго характера противопоставлено безкорыстное и строгое служеніе музамъ, которое не терпитъ суеты, исполненіе долга, завѣщаннаго Богомъ, недаромъ даровавшаго поэту высокій талантъ: легкимъ радостямъ и огорченіямъ минуты—высокія цѣнности величавой красоты; впрочемъ, и безотносительно къ абсолютному, „мірское“ благо признано недостойнымъ усилій и заботъ: оно не стоитъ тѣхъ мукъ, которыми оплачивается. Только скромная сѣнь уединенія даетъ прочный покой и ясную радость, только въ пустынной кельѣ, за безкорыстнымъ трудомъ во имя „святой поэзіи“, можно найти истинное и безмятежное счастье. И опять мы имѣемъ довольно полный аналогъ пименовскимъ мыслямъ:

Не сѣтуй, братъ,—говоритъ онъ Григорію,—что рано грѣшный свѣтъ
Покинулъ ты, что мало искушеній
Послалъ тебѣ Всевышній. Вѣрь ты мнѣ:
Насъ издали плѣняетъ слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долю жилъ и многимъ насладился,

Но съ той поры лишь вѣдаю блаженство,
Какъ въ монастырь Господь меня послалъ.

Характерно, что Пименъ здѣсь аргументируетъ не отъ Св. Писанія, не отъ утвержденія грѣховности всего земного („грѣшный" міръ, въ сущности, могъ быть замѣненъ съ такимъ же успѣхомъ другимъ эпитетомъ), не размышленіями о будущемъ блаженствѣ и возмездіи за потворство страстямъ, словомъ, не какъ православный аскетъ, но какъ поживший и видавшій виды человѣкъ. Сравнительная оцѣнка свѣтской и монастырской жизни у Пимена чисто-свѣтская, эмпирическая, не выходящая за предѣлы простого фактическаго противопоставленія. Онъ „много жилъ и многимъ насладился", но истинное блаженство обрѣлъ только за монастырской стѣной. Шумныя мечты, слава, роскошь и женская лукавая любовь отвергнуты имъ не по соображеніямъ христіанскаго аскетизма, а только потому, что онѣ лишь издали плѣняютъ насъ, а вблизи оказываются пустымъ призракомъ. Настроеніе, мотивировки и даже само построеніе увѣщанія лѣтописца вполнѣ сходны съ призывомъ поэта къ его запоздалому другу.

Но именно здѣсь съ особенной рѣзкостью проступаетъ идеализація образа Пимена, заключающаяся въ „обмірщеніи" монашескаго типа. Въ Пименѣ нѣтъ ничего специфически монастырскаго, нѣтъ и намека на религіозно-отрицательное отношеніе къ свѣтской жизни. Его уходъ отъ міра не связанъ съ проклятіями по адресу прежней жизни; онъ обусловленъ, скорѣе, утомленіемъ и одряхлѣніемъ да желаніемъ, общимъ для всѣхъ православныхъ-русскихъ, на старости лѣтъ позаботиться о душѣ. Съ этой стороны его образъ лучше всего обрисованъ въ рѣчи Григорія:

Какъ весело провелъ свою ты младость!
Ты воевалъ подъ башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ,
Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна!
Счастливъ!—А я отъ отроческихъ лѣтъ

По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ!
Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ бояхъ,
Не пировать за царскою трапезой?
Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ
Отъ суеты, отъ міра отложиться,
Произнести монашества обѣтъ
И въ тихую обитель затвориться.

И эта біографическая характеристика подтверждается самимъ Пименомъ:

... Донынѣ—если я,
Невольною дремотой обезсиленъ,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи—
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ:
Мнѣ чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ [1]).

Его *личныя* воспоминанія не теряются среди монотоннаго и безцвѣтнаго монастырскаго житья, не рисуютъ ему рядъ лѣтъ, наполненныхъ постомъ, молитвами и покаяніемъ, но ярки, красочны и разнообразны. Онъ самъ пережилъ событія своей лѣтописи, впиталъ въ себя огромный запасъ впечатлѣній и на старости лѣтъ снова переживаетъ все это претвореннымъ въ спокойную историческую картину. Въ образѣ Пимена въ опредѣленной исторической оболочкѣ воспроизведена духовная эволюція богато одаренной личности, прошедшей сквозь всѣ увлеченія юношескаго Sturm und Drang'a и кончившей глубокой и мудрой резиньяціей, принявшей формы объективнаго историческаго міросозерцанія. Пушкинъ идеализировалъ лѣтописца именно такъ, что, благодаря этой идеализаціи, онъ сдѣлался близокъ самому поэту. Сопоставленіе V сцены „Бориса Годунова“ съ монологомъ „19-го октября“ раскрыло намъ субъективное зна-

[1]) Эпитетъ „безумный“ — „l'expression consacrée“ Пушкина для характеристики его собственной молодости.

ченіе этой идеализаціи. Звуча въ унисонъ по своему основному настроенію (пафосъ медленно движущагося времени), давая полный аналогъ въ главныхъ моментахъ оцѣнки, монологи Пимена и Пушкина расходятся лишь въ окраскѣ воспоминаній: въ томъ привкусѣ молодости, который чувствуется въ „19-омъ октября". Было бы странно и ненатурально, если бы Пушкинъ въ своемъ монологѣ задрапировался бы старымъ лѣтописцемъ: все стихотвореніе приняло бы тогда искусственный, риторическій характеръ. Но именно то обстоятельство, что рѣчи Пушкина имѣютъ сходство съ рѣчами Пимена только въ томъ, что естественно могло быть усвоено изъ старческой мудрости геніальнымъ юношей, показываетъ намъ, какъ непроизволенъ и внутренне-закономѣренъ былъ самъ процессъ усвоенія. Изъ историческаго образа монаха-лѣтописца Пушкинъ извлекъ только то, что соотвѣтствовало его собственнымъ переживаніямъ: учась у Пимена, онъ, въ свою очередь, оказалъ вліяніе на этого послѣдняго, лишивъ его мрачныхъ аскетическихъ тенденцій.

Итакъ, подводя общіе итоги анализа, мы можемъ сказать слѣдующее: въ основѣ „Бориса Годунова" лежитъ знакомое намъ по „Цыганамъ" противопоставленіе эгоцентрически мыслящей личности могучей стихіи, индивидуальнаго притязанія —роковому сцѣпленію событій развивающейся жизни. Но въ то время, какъ въ поэмѣ олицетвореніемъ строгой судьбы является стихійная страсть, индивидуализировавшаяся въ отдѣльномъ человѣкѣ, въ трагедіи ее представляетъ стихійное народное движеніе, взятое въ исторической перспективѣ. Благодаря этому, надъиндивидуальная необходимость, господствующая надъ явленіями частной и соціальной жизни, воспринимается въ „Борисѣ Годуновѣ" не какъ безсмысленная судьба, похожая на „обезьяну, которой дана полная воля" (VIII, 154), а какъ ирраціональная, но цѣлесообразная въ конечномъ итогѣ, могучая сила. И эти созерцанія и настроенія нашли свое выраженіе не только въ изображеніи

ряда историческихъ событій, но и въ опредѣленной идеологіи, данной въ монологахъ Пимена, образа, интимно-близкаго самому поэту. Такъ, пессимистическая идея слѣпого рока, преломившись въ „дыму столѣтій", привела къ возникновенію особаго историческаго созерцанія жизни, постигшаго объективную цѣлесообразность процесса всеобщей жизни и обосновавшаго этическое подчиненіе человѣка его необходимымъ законамъ. Въ историческомъ опытѣ „Бориса Годунова" идеологія французскаго Просвѣщенія была приведена на судъ русской лѣтописи и осуждена безвозвратно.

V.

Такимъ образомъ въ „Борисѣ Годуновѣ" совершилась „объективація", если можно такъ выразиться, созерцанія прошлаго и настоящаго; здѣсь Пушкинъ перешагнулъ, наконецъ, за волшебную черту эгоцентрическаго и антропоцентрическаго воззрѣнія на жизнь и вырвался на просторъ отрѣшенныхъ отъ всего личнаго, не заинтересованныхъ, стремящихся къ объективной оцѣнкѣ проникновеній въ смыслъ совершающагося. Но въ то же самое время эти новыя формы переживанія жизни не могли не обострить въ немъ одной чрезвычайно значительной,—быть можетъ, самой значительной проблемы индивидуальнаго существованія—проблемы смерти.

Созерцанія жизни подъ знакомъ времени, какъ процесса безконечной смѣны явленій, смѣны, которой нельзя остановить и которая абсолютно неизбѣжна, не можетъ оставить безъ вниманія и эволюціи человѣка. „Вращается весь міръ вкругъ человѣка, ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?" спрашиваетъ поэтъ и немедленно отвѣчаетъ: „невидимо склоняясь и хладѣя, мы близимся къ началу своему". Историческая перспектива, дававшая возможность взглянуть на процессъ всеобщей жизни, какъ на безконечное, не ограничен-

ное никакими временными предѣлами движеніе человѣчества къ таинственнымъ цѣлямъ, будучи приложена къ явленію индивидуальнаго существованія, говорила о постепенномъ ослабленіи и одряхлѣніи личности, о процессѣ, роковымъ образомъ ограниченномъ во времени и неизбѣжно заканчивающемся смертью. Историческое созерцаніе жизни человѣческаго цѣлаго необходимо приводило къ представленію вѣчности развитія, историческое созерцаніе жизни индивидуума необходимо заканчивалось идеей разрушенія и смерти. Такъ въ паѳосѣ глагола временъ возникали два внутренне связанныхъ и все же глубоко контрастныхъ представленія, оказывавшихъ вліяніе другъ на друга. Наличность ихъ легко констатируется въ „19-мъ октября“ и даже ранѣе, но свое полное развитіе они получили лишь въ позднѣйшихъ произведеніяхъ поэта, въ цѣломъ циклѣ стихотвореній, которому можно присвоить названіе „пименовскаго“.

Само собой разумѣется, что, говоря о глубокой связи между историческими настроеніями поэта и идеей смерти, мы отнюдь не желаемъ сказать, что эта послѣдняя только тутъ впервые возникла въ его сознаніи. Напротивъ, мысль о разставаніи съ жизнью часто являлась Пушкину и въ пору его эпикурейскихъ и романтическихъ исканій. Но тамъ эта идея занимала совершенно иное положеніе. О смерти поэтъ вспоминалъ только для того, чтобы тотчасъ забыть о ней. Въ самомъ міровоззрѣніи, въ общихъ формахъ воспріятія міра не было ничего такого, что бы неразрывно связывалось съ идеей разрушенія личности. И легкій, устремленный на наслажденіе, опьяненный радостью жизни эпикуреизмъ, и бурныя исканія романтическаго индивидуализма заставляли забывать о послѣднемъ часѣ; не до него было сознанію, всецѣло занятому наличнымъ содержаніемъ жизни. Прекрасное, одно изъ лучшихъ эпикурейскихъ стихотвореній юноши Пушкина какъ нельзя болѣе ясно свидѣтельствуетъ объ этомъ:

Не пугай насъ, милый другъ,
Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ бездѣльемъ
Заниматься недосугъ.
Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой,
Мы жъ утратимъ юность нашу
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой;
Каждый у своей гробницы
Мы присядемъ на порогъ,
У паѳосскія царицы
Свѣжій выпросимъ вѣнокъ,
Лишній мигъ—у вѣрной лѣни,
Круговой нальемъ сосудъ,
И толпою наши тѣни
Къ тихой Летѣ убѣгутъ.
Смертный мигъ нашъ будетъ свѣтелъ,
И подруги шалуновъ
Соберутъ ихъ легкій пепелъ
Въ урны праздныя пировъ.

(„Н. П. Кривцову“, 1817, I, 227).

Здѣсь поэтъ спасается отъ тяжкаго раздумья, концентрируя свое вниманіе на представленіи легкокрылой радости, безмятежнаго времяпрепровожденія шалуновъ; благодаря этому онъ и можетъ отозваться о новосельѣ гроба, какъ бездѣльѣ. Тутъ не приходится даже и говорить о преодолѣніи смерти: хороша побѣда, которая дается на днѣ круговой чаши. И дѣйствительно, въ минуты трезваго размышленія, въ минуты ясной сознательности это „бездѣлье“ рисуется поэту въ совершенно иномъ видѣ:

Ты, сердцу непонятный мракъ,
Пріютъ отчаянья слѣпой
Ничтожество, пустой призракъ,
Не алчу твоего покрова!

Веселье жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка,
Я все не вѣрую въ тебя:
Ты чуждо мыслямъ человѣка,
Тебя страшится гордый умъ.
Такъ путникъ, съ вышины внимая
Ручьевъ кавказскихъ вѣчный шумъ
И взоромъ бездну измѣряя,
Внезапнымъ ужасомъ томимъ,
Дрожитъ, шатается; предъ нимъ
Предметы движутся, темнѣютъ;
Въ немъ чувства хладныя нѣмѣютъ;
Вотще оплота ищетъ онъ,—
И все во взорахъ исчезаетъ,
И обморокъ, какъ страшный сонъ,
На край горы его бросаетъ...

Таково созерцаніе смерти въ серьезныя минуты; неотдѣланныя строфы отрывка говорятъ намъ о какомъ-то мрачномъ, потрясающемъ душу видѣніи, посѣтившемъ поэта; объ ужасѣ и отчаяніи, изъ которыхъ одинъ только выходъ—вѣра въ „благословенныя мечты"—вѣра въ то,

Что тѣни легкою толпой
Отъ береговъ холодной Леты
Слетаются на брегъ земной
И невидимо навѣщаютъ
Мѣста, гдѣ было все милѣй (1822 г. I, 623).

Да иного выхода и быть не можетъ для того, кто живетъ въ тѣсномъ кругу эгоцентрическаго переживанія жизни. Его созерцаніе совершающагося тѣсно связано съ судьбою собственнаго „я"; все существуетъ лишь постольку, поскольку живетъ онъ самъ; онъ не можетъ представить себѣ бытія міра внѣ предѣловъ личнаго существованія въ настолько цѣнныхъ формахъ, чтобы въ этомъ представленіи найти силу для самозабвенія и резиньяціи, безъ которыхъ невозможно

преодолѣніе смерти, какъ абсолютнаго уничтоженія индивидуальнаго сознанія. И ему остается только либо забыться въ „похищеніи дня“, восторжествовать надъ смертью „силой чувства цѣнности и радостности переживаній, полноты бытія“ [1]) либо отвергнуть ее самое вѣрой въ какую-нибудь форму личнаго безсмертія.

Но идея индивидуальнаго безсмертія ни на одинъ моментъ не завладѣвала вполнѣ сознаніемъ поэта, не отливалась въ его исповѣданіи въ отчетливыя и рѣзкія формы. Если она и играла извѣстную роль въ его мышленіи, то лишь въ качествѣ возможной гипотезы о туманномъ будущемъ, въ качествѣ обывательскаго разсужденія на тему: „кто знаетъ, что тамъ будетъ: можетъ, и въ самомъ дѣлѣ безсмертіе“. Это было не ясная вѣра въ будущую жизнь, но, скорѣе, нѣкоторое сомнѣніе въ абсолютности уничтоженія. И, конечно, такое сомнѣніе не могло послужить прочнымъ основаніемъ для окончательнаго рѣшенія зловѣщаго вопроса. Нужно было искать новыхъ источниковъ для примиренія съ мыслью о послѣднемъ часѣ, и Пушкинъ нашелъ ихъ. Своеобразное, пушкинское „преодолѣніе смерти“ чувствуется уже въ знаменитыхъ строфахъ второй пѣсни „Евгенія Онѣгина“, которыми такъ восхищался Бѣлинскій:

Увы, на жизненныхъ браздахъ,
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ
И къ гробу прадѣдовъ тѣснитъ.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки въ добрый часъ
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.

[1]) Ивановъ-Разумникъ. „Евгеній Онѣгинъ“: Венгеровъ, Пушкинъ, т. III, 233.

Покамѣстъ упивайтесь ею,
Сей легкой жизнію, друзья!
Ея ничтожность разумѣю,
И мало къ ней привязанъ я.
Для призраковъ закрылъ я вѣжды;
Но отдаленныя надежды
Тревожатъ сердце иногда:
Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было бъ грустно міръ оставить;
Живу, пишу не для похвалъ;
Но я бы, кажется, желалъ
Печальный жребій свой прославить,
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хоть единый звукъ.

(1823 г., гл. II, стр. 38, 39).

Здѣсь налицо всѣ элементы позднѣйшаго воззрѣнія. Представленіе о собственной смерти неразрывно связывается съ объективнымъ представленіемъ безконечнаго процесса всеобщей жизни. Человѣкъ не умираетъ: „въ добрый часъ" „по тайной волѣ Провидѣнья" внуки просто вытѣсняютъ его, и жизнь продолжается, не прерываясь ни на минуту. Вмѣсто того, чтобы сосредоточиться на моментѣ своего личнаго уничтоженія, сознаніе поэта забѣгаетъ впередъ и созерцаетъ вѣчную жизнь смѣняющихся поколѣній; вмѣсто отчаянія и страха въ немъ загорается желаніе принять участіе въ этой жизни послѣ его смерти, оставить послѣ себя такой „памятникъ", который вѣчно бы говорилъ людямъ о немъ и его дѣлахъ. И, если раньше мысль о смерти побуждала къ наслажденью жизнью, къ торопливой погонѣ за ея радостями, теперь она уже призываетъ къ усиленной дѣятельности, дабы можно было успѣть провести „послѣднюю борозду".

Но въ „Евгеніи Онѣгинѣ" этотъ циклъ идей и переживаній не получилъ окончательной формулировки, не базируется на отчетливомъ, глубокомъ и искреннемъ созерцаніи. Это ско-

рѣе предчувствіе будущаго, случайный проблескъ новыхъ настроеній, отрывочный намекъ, выдержанный къ тому же въ обычномъ для этого произведенія тонѣ легкой ироніи надъ своими героями и самимъ собой („быть можетъ—лестная надежда —укажетъ будущій невѣжда на мой прославленный портретъ и молвитъ: то-то былъ поэтъ!").

Только послѣ опыта „Бориса Годунова", послѣ одиночнаго заключенія въ Михайловскомъ, въ душѣ поэта образовалось достаточно данныхъ для новаго рѣшенія вопроса, и связь этого рѣшенія съ пименовскими настроеніями очевидна: тѣ три основныхъ мотива, которыя можно отмѣтить въ монологахъ старца и въ „19-омъ октября": созерцаніе жизни подъ знакомъ времена, объективность созерцанія (резиньяція) и вѣра въ будущее налицо и въ этихъ думахъ о смерти.

Мы уже указывали, что созерцаніе жизни какъ процесса во времени неизбѣжно приводитъ къ мысли о смерти, о постепенномъ приближеніи человѣка къ гробу. И именно приближеніи: теперь въ явленіи смерти нѣтъ того элемента случайности, который характеризуетъ юношескія представленія о ней. Тамъ смерть являлась какъ бы ударомъ грома среди яснаго неба, ударомъ неизбѣжнымъ, настигающимъ каждаго, но не опредѣленнымъ во времени: она была такою же напастью, такимъ же несчастьемъ, какъ и другія невзгоды. Отъ нихъ нельзя защититься, спастись, но всѣ они случайны, возникаютъ и исчезаютъ по волѣ слѣпого случая; въ самой жизни, вокругъ человѣка не было ничего такого, что бы говорило о смерти и времени ея наступленія. Сосредоточенное на наличномъ моментѣ, жадно засматривавшееся на приманки жизни, увѣренное въ своей свѣжести и мощи юношеское сознаніе не имѣло критеріевъ для оцѣнки истиннаго значенія смерти, тяготѣющей надъ людьми, не переживало жизни какъ процесса постепеннаго приближенія къ могилѣ.

Здѣсь, напротивъ, представленіе о смерти сдѣлалось имманентнымъ созерцанію жизни: эта послѣдняя воспринимается

уже не какъ нѣчто неподвижное, не какъ море, надъ которымъ свирѣпствуетъ буря съ грозой, но какъ потокъ, уносящійся въ бездну, откуда нѣтъ возврата. При такихъ условіяхъ каждое измѣненіе въ окружающей средѣ неуклонно приводитъ къ мысли о зловѣщемъ измѣненіи въ самой личности; каждая прожитая минута говоритъ о близости конца: сознаніе болѣзненно воспринимаетъ каждый мигъ, отошедшій въ прошлое, и жадно считаетъ каждую „частицу бытія“ („летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ частицу бытія“).

Это состояніе духа нашло прекрасное выраженіе въ стансахъ 1829 года „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“. Для нихъ характерно именно воспріятіе жизни какъ неизбѣжнаго и неотвратимаго движенія къ безднѣ. Каждое проявленіе жизни напоминаетъ поэту о смерти, потому что оно говоритъ о безконечной смѣнѣ, о постоянномъ стремленіи времени, потому что настоящее въ немъ ограничено прошедшимъ и будущимъ:

Гляжу ль на дубъ уединенный,—
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ *пережилъ* онъ вѣкъ отцовъ.

Это не простое воспріятіе дуба съ его величавой короной, могучимъ стволомъ и отрадной тѣнью, но созерцаніе его длительнаго бытія; „патріархъ лѣсовъ“ является тутъ не объектомъ эстетической эмоціи или практической мысли, но служитъ вѣхой для опредѣленія времени. О такомъ же переживаніи говоритъ и слѣдующая строфа:

Младенца ль милаго ласкаю,—
Уже я думаю: „Прости!“
„Тебѣ я мѣсто уступаю:
„Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти“.

Да и вся пьеса проникнута подобнымъ же настроеніемъ: ощущеніемъ жизни, какъ потока событій, несущагося въ небытіе, такъ что слова:

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

покоятся на прочномъ основаніи глубоко укоренившагося въ душѣ поэта особаго метода созерцать совершающееся. И, дѣйствительно, ихъ безусловная правдивость подтверждается не только рядомъ стихотвореній [1]), такъ или иначе, затрагивающихъ проблему смерти, но и чрезвычайно любопытнымъ отрывкомъ изъ плана устройства жизни, относящагося къ 1831 году, гдѣ поэтъ вводитъ смерть въ программу самой жизни: „поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтическіе, семья, любовь etc. *Религія, смерть*“ (II, 568). Сочетаніе это очень поучительно: оно показываетъ намъ, что мечта поэта не могла забыться надъ созерцаніемъ какого-нибудь отдѣльнаго момента деревенской идилліи, гдѣ сконцентрировалась бы вся полнота бытія и счастья, но, забѣгая впередъ, рисовала не только содержаніе его будущей жизни, но и самый процессъ ея, который, конечно, заканчивается смертью. Идеаломъ существованія для Пушкина является здѣсь не остановившееся прекрасное мгновеніе, а законченное и совершенное по формамъ „земное странствіе“, идеально протекающій процессъ: поэтъ желалъ бы не только хорошо „жить“, но и хорошо „прожить“, и это придаетъ особую возвышенность его надеждѣ на личное счастье.

Такимъ образомъ, смерть, какъ стихія, опредѣляющая направленіе жизни, была постоянной гостьей сознанія взрослаго Пушкина. Но, строго говоря, самый фактъ этотъ не представляетъ ничего оригинальнаго и не можетъ быть названъ специфической особенностью ни пушкинскаго жизневос-

[1]) Вотъ этотъ циклъ: 1827 годъ—„Три ключа“; 1828 годъ—„Воспоминаніе“; 1829 г.—„Стансы“; 1830 г.—Элегія („Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье...“); 1831 г.—„19 окт.“, „Пора, мой другъ, пора“; 1834 г. „Странникъ“; 1835 г.—„Вновь я посѣтилъ“; 1836 г.—„Памятникъ“, „Когда за городомъ“, „19 октября“, „О, нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла“.

пріятія вообще, ни его историческихъ созерцаній въ частности. Напротивъ, такое переживаніе проблемы смерти—явленіе довольно частое, встрѣчающееся и среди обывательскаго мышленія. Оно образуется на почвѣ тѣхъ эмоцій, которыя возникаютъ въ душѣ человѣка при переходѣ отъ молодости къ зрѣлому возрасту и старости, и является, стало быть, психическимъ отраженіемъ физіологическаго процесса роста личности. Конечно, историческія настроенія могли обострить (и обострили) въ Пушкинѣ это воспріятіе жизни и смерти, но назвать ихъ единственной или даже основной причиной послѣдняго невозможно,—невозможно уже потому, что здѣсь Пушкинъ являлся какъ бы продолжателемъ державинской традиціи [1]), знаменитыя строфы котораго до сихъ поръ еще у всѣхъ на устахъ.

Но, если въ самой постановкѣ проблемы нельзя найти ничего особенно оригинальнаго, то совершенно иначе обстоитъ дѣло съ разрѣшеніемъ ея, съ тѣмъ знаменитымъ, яснымъ и радостнымъ пушкинскимъ „преодолѣніемъ смерти“, о которомъ столько говорилось въ исторіи литературы:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Откуда этотъ торжественно-побѣдный аккордъ? Гдѣ и въ чемъ почерпнулъ поэтъ силы, чтобы возвыситься надъ созерцаніемъ медленнаго движенія къ небытію, побѣдить ужасъ при мысли о послѣдней минутѣ? Этого нельзя найти у Державина, этого не встрѣтишь и въ мышленіи обывателя, пугливая воля котораго стремится отогнать неизбѣжно всплывающее представленіе рокового мгновенія. Пушкинъ, напротивъ, не гонитъ мысли о смерти, даетъ ей постоянное при-

[1]) Очень любопытное и богатое выводами сопоставленіе Державина и Пушкина дѣлаетъ г. Ивановъ-Разумникъ въ своемъ предислов. къ „Избраннымъ сочиненіямъ“ перваго въ изд. тип. Стасюлевича.

станище въ своемъ сознаніи и все же упорно и неуклонно одолѣваетъ ее, торжествуетъ побѣду надъ ея стихійнымъ ужасомъ. Обычное объясненіе этого факта ссылается на „античную ясность“ пушкинскаго генія, усматриваетъ его причину въ интенсивности „психологическаго оптимизма“, одерживающаго верхъ надъ „метафизическимъ пессимизмомъ“ и пр. [1]). Однако, такое объясненіе нельзя признать удовлетворительнымъ: оно слишкомъ обще и безсодержательно. Строго говоря, оно очень смахиваетъ на тавтологію: съ психологической точки зрѣнія пріявшій міръ, конечно, пріялъ его въ силу изначальной психологической оптимистичности своей натуры, равно такъ и сумасшедшій сошелъ съ ума въ силу специфическихъ особенностей своей организаціи. Но какъ и для того, чтобы сойти съ ума, въ большинствѣ случаевъ нужны ближайшія причины: внезапное потрясеніе, какой-нибудь задержанный аффектъ и пр., такъ и для „пріятія міра“ или „преодолѣнія смерти“, помимо общаго предрасположенія, необходимы еще особыя непосредственныя условія, которыми обычно бываютъ спеціальныя формы воспріятія этихъ фактовъ. Такимъ образомъ, въ объясненіи причинъ пушкинскаго отношенія къ смерти слѣдуетъ не ограничиваться формальной аппеляціей къ общимъ свойствамъ его генія, но искать отвѣта по существу въ ближайшихъ условіяхъ и обстановкѣ воспріятія имъ этой проблемы.

Этотъ отвѣтъ, собственно говоря, уже данъ въ послѣдней строфѣ стансовъ: для Пушкина представленіе о смерти связывалось не только съ представленіемъ о личномъ уничтоженіи, съ переживаніемъ небытія, какого-то неподвижнаго, мрачнаго хаоса, но и съ яркимъ и радостнымъ представленіемъ той жизни, которая все-таки будетъ продолжаться и въ то время, когда самъ онъ сойдетъ подъ мрачны своды.

[1]) Ивановъ-Разумникъ, «Евг. Онѣгинъ», Венгеровъ, т. III, стр. 232—34.

Вмѣсто того, чтобы останавливаться на роковомъ моментѣ, болѣзненно смаковать процессъ умиранія, даже разложеніе „безчувственнаго тѣла“ (ср., напримѣръ, толстовскія созерцанія), его воображеніе быстро бѣжитъ впередъ, съ умиленіемъ рисуя обѣ картины младой жизни и равнодушной красоты вѣчной природы. И въ томъ, что поэтъ воспринималъ смерть не какъ фактъ личнаго уничтоженія, абсолютнаго конца, которымъ все обрывается, но какъ „вытѣсненіе его изъ жизни“ милымъ младенцемъ,—въ этомъ и коренился залогъ его торжества: въ безкорыстномъ созерцаніи вѣчной жизни на землѣ поэтъ забывалъ о своей собственной, печальной судьбѣ.

Этотъ мотивъ одновременнаго представленія личной смерти и безконечной жизни человѣческаго цѣлаго не рѣдокъ въ творчествѣ поэта.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое. *Не я*
Увижу твой могучій, поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но *пусть мой внукъ,*
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи
И обо мнѣ вспомянетъ (1835 г.)

Здѣсь развитіе образа идетъ въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны, поэтъ, упомянувъ о своей собственной смерти, уходитъ въ теплое и ясное созерцаніе внука, возвращающагося съ *пріятельской* бесѣды, полнаго *веселыхъ и пріятныхъ* думъ, съ другой стороны—передъ нимъ развертывается сравненіе между судьбой деревьевъ („когда перерастешь моихъ знакомцевъ, и *старую главу ихъ заслонишь*“) и его собственной судьбой: вспомните старое „и наши внуки въ добрый часъ изъ міра вытѣснятъ и насъ“. Въ основѣ здѣсь

тотъ же образъ (или почти тотъ же) какъ въ стансахъ: „патріархъ лѣсовъ", но онъ, эволюціонируя, слился съ выводомъ („И пусть у гробового входа младая будетъ жизнь играть"), и въ этомъ сліяніи создалъ два примирительныхъ и спокойно пріемлющихъ міръ и смерть представленія: красивую думу о томъ, какъ младое поколѣніе заслонитъ старую главу, и возвышенный переходъ отъ мысли о личной смерти къ мысли о жизни внуковъ.

Еще любопытнѣе отмѣтить тотъ циклъ мыслей и чувствъ въ прозѣ поэта, въ его обиходномъ, обращенномъ къ житейской практикѣ мышленіи. Мы уже указывали, какъ спокойно заносилъ онъ на бумагу эти совсѣмъ неравнозначныя слова: поля, крестьяне, любовь, семья, религія, смерть. Интересный комментарій къ этой программѣ даетъ письмо къ П. А. Плетневу того же 1831-го года: „Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры—одна убиваетъ только тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ: погодя умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомыхъ, *новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, вырастетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши старые хрычевки; а дѣтки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики станутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а намъ то и любо*" (VIII, 255).

Константинъ Левинъ ужасался при мысли о старости, потому что онъ, въ своемъ эгоистическомъ мышленіи, видѣлъ въ ней только свою собственную дряхлость и близость послѣдняго новоселья,—Пушкинъ не только не боится старичковства, но и радостно пріемлетъ его, потому что онъ забываетъ о себѣ въ созерцаніи новыхъ созрѣвающихъ друзей (не „маленькаго ли Бѣлинскаго",—говоря аллегорически), въ созерцаніи славныхъ веселыхъ ребятъ, на которыхъ и посмотрѣть любо. Тутъ съ особенной яркостью сказывается полярная противоположность двухъ различныхъ формъ міро-

воспріятія: той, гдѣ весь міръ сужается до тѣснаго круга переживанія личнаго отношенія къ нему, и той, гдѣ личность, напротивъ, забываетъ себя, теряясь въ созерцаніи объективно развивающагося цѣлаго, находитъ въ себѣ силы вѣрующимъ взоромъ взглянуть на жизнь, которая будетъ играть на землѣ послѣ ея смерти. И легко замѣтить, что эта противоположность сводится въ концѣ концовъ къ противоположности субъективнаго и объективнаго созерцанія, такъ что вмѣстѣ съ ней мы снова попадаемъ въ атмосферу той же борьбы эгоцентризма и объективизма, въ какой мы жили, изучая „Бориса Годунова".

Между пушкинскимъ переживаніемъ смерти и его пименовскими настроеніями существуетъ глубокая связь по объективности воспріятія, и эта связь, на нашъ взглядъ, можетъ быть формулирована слѣдующимъ образомъ: объективное, историческое созерцаніе прошлаго и настоящаго научили поэта тому объективному созерцанію будущаго, которое дало ему силы преодолѣть ужасъ смерти. Чтобы убѣдиться въ правильности этого тезиса, достаточно произвести анализъ тѣхъ стихотвореній, гдѣ воспоминаніе развертывается параллельно съ думой о грядущемъ и гдѣ, стало быть, воспріятіе прошлаго сплетается съ воспріятіемъ будущаго. Сюда относятся по преимуществу „19 октября" 1831 и 1836 года и „Вновь я посѣтилъ" (1835 г.).

Давно ль, друзья?.. Но двадцать лѣтъ
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя въ живыхъ ужъ нѣтъ;
Мы жгли Москву; былъ плѣнъ Парижу;
Угасъ въ тюрьмѣ Наполеонъ;
Воскресла грековъ древнихъ слава;
Съ престола палъ другой Бурбонъ;
Отбунтовала вновь Варшава.
Такъ дуновенья бурь земныхъ
И насъ нечаянно касались;
И мы средь пиршествъ молодыхъ

Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рокъ судилъ
И намъ житейски испытанья;
И смерти духъ средь насъ ходилъ
И назначалъ свои закланья.

(„17 окт." 1831 г.; II, 161—2).

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...

. . . . . .

Теперь не то...
Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ;
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается,
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.
Всему пора. Ужъ двадцать пятый разъ
Мы празднуемъ Лицея день завѣтный;
Прошли года чредою незамѣтной, —
И какъ они перемѣнили насъ!
Не даромъ, нѣтъ, промчалась четверть вѣка!
Не сѣтуйте: таковъ судьбы законъ.
Вращается весь міръ вкругъ человѣка,
Ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?
Припомните, о други: съ той поры,
Когда нашъ кругъ судьбы соединили,
Чему, чему свидѣтели мы были!..
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились, и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы
То гордости багрила алтари.

(„19 окт." 1836 г., т. II, 216—17).

Основной фонъ стихотвореній составляетъ объективное воспоминаніе объ историческихъ событіяхъ: о „дуновеньяхъ бурь земныхъ", о томъ, какъ „металися смущенные народы,

игралища таинственной игры", о томъ, какъ „жгли Москву, былъ плѣнъ Парижу" и пр. и пр. Это знакомое намъ созерцаніе „моря-окіяна" стараго лѣтописца, описывающаго „войну и миръ, управу государей, угодниковъ святыя чудеса, пророчества и знаменья небесны". И въ этотъ основной разсказъ тонкой нитью вплетается воспоминаніе о личной жизни, о томъ, какъ „рокъ судилъ и намъ житейски испытанья, и смерти духъ средь насъ ходилъ и назначалъ свои закланья". Но именно благодаря такому сочетанію оно утрачиваетъ свою остроту и болѣзненность; та объективность и безстрастіе, которыя отличаютъ созерцаніе историческаго минувшаго, переносятся невольно и на созерцаніе своего собственнаго прошлаго; факты личной жизни, переплетаясь съ фактами жизни общечеловѣческой, уже не пробуждаютъ въ поэтѣ чувства непосредственной личной заинтересованности, но приравниваются его сознаніемъ къ явленіямъ объективнаго міра. Въ воспріятіи поэта нѣтъ рѣзкаго разграниченія формъ переживанія своихъ „житейскихъ испытаній" и событій всемірнаго значенія; и то и другое покрывается ощущеніемъ необходимости и всеобщности безконечнаго движенія по правиламъ „таинственной игры". Поэтому-то и сами испытанія пріемлются съ покорностью, какъ проявленія той же могучей силы, которая дѣйствуетъ и въ развитіи мірового цѣлаго, какъ факты, подчиненные всеобщему и непремѣнному закону судьбы. „Не сѣтуйте,—обращается поэтъ къ друзьямъ:—таковъ судьбы законъ: вращается весь міръ вкругъ человѣка, ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?" Все течетъ, все „вращается", и въ созерцаніи „вращенія" великаго всего поэтъ забываетъ о „вращеніи" малаго (своего личнаго бытія). Сравните, напримѣръ, рядъ личныхъ воспоминаній въ стихотвор. „Вновь я посѣтилъ". Это произведеніе носитъ безусловно интимный характеръ, котораго лишены, конечно, писанныя для кружка пріятелей юбилейныя пьесы. А, между тѣмъ, и здѣсь тотъ же объективный, историческій разсказъ:

... Когда вы въ первый разъ
Увидѣли меня, тогда я былъ
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно
Я приступалъ лишь только къ жизни. Годы
Промчалися—и вы во мнѣ пріяли
Усталаго пришельца.....

. . . . . .

Я былъ ожесточенъ. Въ унынье часто
Я помышлялъ о юности моей,
Утраченной въ безплодныхъ испытачьяхъ,
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной—
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства...
Я возмужалъ,
И дней моихъ взволнованный потокъ
Теперь утихъ...
Надолго-ли,—не знаю... Но прошли
Дни (грозныхъ) бурь, дни горькихъ искушеній...
(1835 г., II, 207 и 560).

Здѣсь нѣтъ ни гнѣва, ни раздраженія, никакихъ вообще горькихъ чувствъ, какого-нибудь кипѣнія; воспоминанія развертываются спокойно, повѣствованіе описываетъ факты жизни, не вдаваясь ни въ какія субъективныя оцѣнки. Передъ нами снова Пименъ:

Какъ ласки ихъ мнѣ радостны бывали,
Какъ живо жгли мнѣ сердце ихъ обиды!
Но гдѣ же ихъ знакомый ликъ и голосъ?..
Чуть-чуть ихъ слѣдъ ложится легкой тѣнью...
И мнѣ давно, давно пора за ними... [III, 633 [1])],

[1]) Ср. еще:
Шесть мѣстъ упраздненныхъ стоятъ,
Шести друзей не узримъ болѣ...
И, мнится, очередь за мной.

Но, взглядываясь пристальнѣе въ структуру этого стихотворенія, легко найти въ ней тѣ же элементы, какъ и въ „юбилейныхъ“ произведеніяхъ. Оно изображаетъ въ миніатюрѣ ту же картину жизни личности на фонѣ общей жизни:

Ужъ десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и много
Перемѣнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону,
Перемѣнился я...

Переживаніе своей личной судьбы въ неразрывной связи съ судьбою цѣлаго и здѣсь не покидаетъ поэта. И, если относительно „19 окт.“ можно утверждать, что тамъ это переживаніе является результатомъ созерцанія участи цѣлой группы людей, широко разбредшейся по всему міру [1]), то появленіе его въ произведеніи, описывающемъ глухой замкнутый уголокъ деревни, нельзя объяснить иначе, какъ глубокимъ усвоеніемъ его общимъ формамъ созерцанія поэта. Онъ уже не можетъ сосредоточиться на самомъ себѣ, на своихъ личныхъ воспоминаніяхъ, и, вырвавъ ихъ изъ цѣпи всего совершающагося, разразиться градомъ упрековъ и сѣтованій. Напротивъ, начавъ съ подведенія себя подъ „общій законъ“, онъ переходитъ затѣмъ къ смерти няни, къ появленію „младой рощи“ тамъ, „гдѣ нѣкогда все было пусто, голо“ (вѣдь все это „событія“ деревенской жизни), прерываетъ нить воспоминаній описаніемъ красоты „равнодушной природы“ (вставка: „Межъ нивъ златыхъ и пажитей зеленыхъ оно, синѣя, стелется широко“ и т. д.), и только въ заключеніе сводитъ разсказъ къ изложенію собственныхъ злоключеній. Созерцанія стихотворенія лишены всякой эгоцентрической окраски; поэтомъ владѣютъ объективно-историческія настроенія; объектомъ воспріятія служитъ не нить отдѣльнаго существованія, а всеобщій процессъ жизни, безконечный въ грядущемъ и въ

[1]) Ср. „19 окт. 1827 г.“, гдѣ поэтъ вспоминаетъ о товарищахъ, раскиданныхъ по всей землѣ: „въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ, и въ мрачныхъ пропастяхъ земли“.

прошломъ, для котораго нѣтъ смерти и уничтоженія. Отдѣльныя впечатлѣнія организуются въ стройное единство сознаніемъ всеобщности закона строгой судьбы, и всѣ личныя чувства тонутъ въ пафосѣ медленно движущагося времени. И мысль о смерти, развивающаяся въ двухъ параллельныхъ образахъ: о гибели старыхъ деревьевъ и собственномъ „вытѣсненіи“ внукомъ подчиняется общему тону пьесы. Представленіе будущаго конструируется по тѣмъ же самымъ принципамъ, какъ и представленіе прошлаго и настоящаго; оно не обрывается на моментѣ индивидуальнаго уничтоженія, а рисуетъ картину изъ жизни „младой рощи“, т. е. тотъ же самый процессъ бытія, съ какимъ имѣетъ дѣло и ретроспективный взглядъ.

Тутъ чрезвычайно отчетливо выступаетъ связь особаго воспріятія будущаго, заключеннаго въ образахъ „Стансовъ“, „Памятника“ и пр., съ историческими формами пушкинскаго мышленія вообще. Историзмъ, давшій поэту объективное созерцаніе того, что было, далъ ему и объективность въ созерцаніи того, что еще совершится. Въ историзмѣ—своеобразіе пушкинскаго переживанія смерти, и въ немъ же—залогъ его побѣды надъ ужасомъ послѣдняго часа.

Но, уничтожая страхъ смерти и желаніе забыться въ чаду жизни, такой „взглядъ впередъ“ не оставляетъ все же личность совершенно равнодушной къ тому, чему еще суждено быть. Напротивъ, въ ней возникаетъ желаніе принять участіе въ этой будущей жизни хотя бы въ памяти людей, повліять на нее какимъ бы то ни было образомъ, черезъ созданія рукъ своихъ, словомъ, потрудиться во имя „поколѣній будущихъ столѣтій“ (Шиллеръ). Этотъ мотивъ замѣтенъ уже въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ (см. выше), онъ же отчетливо сквозитъ въ монологѣ Пимена.

Строго говоря, весь трудъ Пимена совершается во славу будущаго. Безъ надежды на то, что

Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;
Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду

И, пыль вѣковъ отъ хартій отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ,
Да вѣдаютъ *потомки* православныхъ
Земли родной *минувшую судьбу*,—

безъ этой надежды составленіе лѣтописи, которая не можетъ сейчасъ же увидѣть свѣтъ и вліять непосредственно, утрачиваетъ всякій смыслъ и значеніе. Въ глазахъ старцахъ цѣлью его хроники является поученіе потомковъ православныхъ. Передъ нимъ проходитъ не только минувшее, но и будущее, которое онъ представляетъ себѣ въ тѣхъ же объективно-историческихъ рамкахъ, и этому будущему хочетъ онъ служить своимъ трудомъ. Объективировавъ прошлое, отвернувшись отъ настоящаго, онъ торопится исполнить свой долгъ передъ подходящими поколѣніями, созерцаніе жизни которыхъ не затемняется въ его сознаніи мыслью о собственной смерти.

Но это служеніе будущему имѣетъ у Пимена совершенно особый характеръ: оно анонимно, его трудъ безымяненъ. Ушедшему отъ жизни старцу не нужно, чтобы его имя перешло въ память потомства, чтобы его образъ жилъ вмѣстѣ съ его произведеніемъ. Онъ довольствуется отраднымъ сознаніемъ исполненнаго долга, и съ этой точки зрѣнія его трудъ абсолютно безкорыстенъ и дѣйствительно религіозенъ. Такого отношенія къ будущему мы не найдемъ у Пушкина. Его произведенія должны служить да и служатъ фактически не одному будущему. Они пущены въ оборотъ современной жизни, ихъ не только перепишетъ когда-нибудь трудолюбивый историкъ, но и сейчасъ „списываютъ“ добрые знакомые, ихъ треплютъ Булгарины и Гречи, ихъ судитъ чернь. И судъ этотъ таковъ, что измученному поэту, сознающему въ то же время свои достоинства и заслуги, не остается ничего другого, какъ возложить свои надежды на будущее, обратившись къ современникамъ съ язвительнымъ укоромъ:

О люди! Жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

(7/IV 1835 г., Св. Хр. Воскр., т. II, 201).

Отъ современности они апеллируютъ къ будущему. Фактъ этотъ очень любопытенъ: здѣсь сказывается то же „противорѣчіе", которое мы уже имѣли случай разбирать при анализѣ „народа и толпы" въ „Борисѣ Годуновѣ". Пушкинъ не признаетъ суда черни:

Ты самъ свой высшій судъ,—говоритъ онъ поэту,—
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

(1830 г., II, 126).

Трезвый и ясный взглядъ реалиста скользитъ по толпѣ „жрецовъ минутнаго, поклонниковъ успѣха" и не находитъ въ ней никого, кто бы могъ сдѣлаться авторитетомъ для художника; слѣпому и буйному сужденію „измѣнчивой и суевѣрной" черни онъ противопоставляетъ автономное рѣшеніе самого поэта: ты самъ свой высшій судъ: дорогою свободной иди, куда влечетъ тебя свободный умъ. Но этимъ презрѣніемъ къ площадному шуму наличной минуты отношеніе поэта къ обществу далеко не исчерпывается. Историческое созерцаніе жизни раскрываетъ передъ нимъ новые горизонты: подобно тому, какъ въ драмѣ Бориса Годунова за безобразными уличными сценами стоитъ и вершитъ дѣло особая культурно-историческая сила—„народное мнѣніе", такъ и здѣсь въ его личномъ дѣлѣ, кромѣ суда глупца и смѣха холодной толпы, есть высшая инстанція грядущій

судъ исторіи въ лицѣ ея идеальнаго носителя—народа. И, отвергая съ негодованіемъ сужденія и претензіи черни, поэтъ, напротивъ, въ надеждѣ на грядущій приговоръ исторіи находитъ себѣ утѣшеніе и силы, чтобы спокойно отнестись къ окружающему:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ,
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгузъ и другъ степей калмыкъ:
И долго буду тѣмъ любезенъ я *народу*,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

„Народъ", выведенный въ этихъ строфахъ, и „чернь" ямбовъ и стихотвореній соотвѣтствующаго цикла не имѣютъ между собой ничего общаго. Это понятія совершенно различныхъ категорій: одно суммируетъ непосредственныя впечатлѣнія текущаго момента, оцѣнивая ихъ внѣ всякаго соображенія объ исторической перспективѣ, другое, напротивъ, является результатомъ историческаго созерцанія жизни, въ которомъ исчезаютъ всѣ отдѣльные, разрозненные факты и остаются лишь крупные, общаго значенія итоги человѣческаго развитія, которые заставляютъ предполагать особаго носителя исторической правды-истины — народъ. Здѣсь стираются всѣ временныя, случайныя отличія, стихаютъ безсмысленные крики и осужденія, „и гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій тунгузъ и другъ степей калмыкъ" сливаются въ единое народное цѣлое, гдѣ нѣтъ ни классовыхъ, ни свѣтскихъ, ни бытовыхъ предразсужденій, но чистое и возвышенное моральное сознаніе. И именно моральное: вѣдь мотивировка будущаго приговора „народнаго мнѣнія" надъ поэтомъ чисто этическая: народъ возлюбитъ его за служеніе добру, свободѣ и милосердію. Въ этомъ отношеніи представленіе о народѣ въ „Памятникѣ" ни въ чемъ не расходится

съ пименовскими воззрѣніями въ „Борисѣ Годуновѣ“. И тутъ и тамъ народъ противопоставляется черни, и тутъ и тамъ его оцѣнка чисто этическая (своихъ царей великихъ поминаютъ за ихъ труды, за славу, за добро и пр.), такъ что формулу „Памятника“ можно назвать примѣненіемъ къ самому поэту того пожеланія, которое высказываетъ Пименъ по адресу „историческихъ“ личностей вообще. Съ одной стороны, глубокое осознаніе своего личнаго значенія, своей „историчности“, съ другой же чрезвычайно свободное объективное воззрѣніе на будущее позволили поэту взглянуть, такъ сказать, со стороны на самого себя, какъ на „историческій фактъ“ въ безконечномъ историческомъ процессѣ и противопоставить суду глупцовъ судъ исторіи.

И что это противопоставленіе не случайно, что „Памятникъ“ не простое подражаніе, для выясненія генезиса котораго довольно историко-сравнительнаго метода, объ этомъ свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что идея суда исторіи глубоко укоренилась въ сознаніи поэта. Мы уже видѣли, какъ исторично судилъ онъ Александра I въ „19 окт. 1825 г.“; въ 1829 г. онъ замѣчаетъ по поводу одного мѣста погодинской статьи о „Борисѣ Годуновѣ“: „Мертвыхъ царей судитъ исторія, ибо на царей и на... (неразб. сл.) нѣтъ иного суда [1]). Еще болѣе любопытна характеристика Петра Великаго (отъ 1834 г.): „Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. *Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ для будущаго,—вторые вырвались у нетерпѣливаго самовластнаго помѣщика* (VII, 600). Здѣсь то же отчетливое противопоставленіе „историческаго“ и „злободневнаго“ и, пользуясь терминами этихъ отрывковъ, мы такъ можемъ вы-

[1]) „Пушкинъ и его соврем.“, вып. VIII, стр. 159. Статья Погодина: „Объ участіи Бориса Годунова въ убіеніи царевича Димитрія“. „Моск. вѣст.“, 1829 г., ч. III.

разить внутренній смыслъ „Памятника“: отвергая приговоръ „Уголовной Палаты“, относясь съ презрѣніемъ къ сужденію „самовластнаго помѣщика“, Пушкинъ склонялся передъ судомъ будущаго, передъ судомъ исторіи, которая одна призвана судить „мертвыхъ царей“ и... поэтовъ, скажемъ мы, дополняя неразборчивое слово.

Такимъ образомъ, историческія формы созерцанія не только дали поэту возможность преодолѣть ужасъ смерти, но и помогли ему, опираясь на вѣру въ безпристрастную справедливость суда грядущихъ временъ, спокойнѣе отнестись къ оцѣнкамъ современности:

Велѣнью Божію, о муза, будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Это заключеніе вполнѣ послѣдовательно и естественно вытекаетъ изъ общаго настроенія стихотворенія: не страшиться обиды, быть равнодушнымъ къ хвалѣ и клеветѣ можно лишь тогда, когда вѣришь, что за нелѣпицей злободневности, данной въ непосредственномъ воспріятіи и изолированной оцѣнкѣ, очерчиваются иныя формы человѣческой жизни, протекающей во времени и реализующей въ процессѣ таинственной игры объективныя этическія цѣнности. Покорность, къ которой здѣсь призываетъ поэтъ свою музу, не слѣпой фатализмъ, подчиненіе безсмысленной, но непреодолимой силѣ, но спокойное и ясное пріятіе міра во имя осуществляющейся въ немъ ирраціонально правды и справедливости.

Въ „Памятникѣ“ въ слитномъ видѣ даны основные мотивы пушкинскаго пріятія міра, поскольку оно выходило за предѣлы простой обывательской привычки жить и не затемнялось горькими чувствами, столь понятными въ печальныхъ обстоятельствахъ жизни поэта. И мы ясно видимъ, что въ основѣ этого міропріятія лежитъ объективное созерцаніе дѣйствительности, какъ историческаго объективно-цѣннаго процесса.

VI.

Предыдущее изложеніе пыталось показать, что въ наиболѣе яркихъ поэтическихъ образчикахъ пушкинскаго міропріятія преобладаютъ тѣ же мотивы, какъ и въ „Борисѣ Годуновѣ". Отсюда, однако, отнюдь, не слѣдуетъ дѣлать вывода, будто авторъ утверждаетъ, что въ Пушкинѣ всегда господствовали эти бодрыя и ясныя настроенія. Совсѣмъ напротивъ.

Тѣ богатыя теоретическія возможности, которыя содержались въ общей идейной структурѣ трагедіи, не отлились ни сейчасъ же, ни позднѣе въ стройную и рѣзко ограненную систему міровоззрѣнія. Онѣ такъ и остались возможностями, указаніемъ новаго пути, ведущаго къ преодолѣнію пессимистическаго антропоцентризма, и отнюдь не знаменовали собой достиженія полной гармоніи въ коренныхъ вопросахъ идеологіи и полнаго перевоспитанія личности. Они отмѣчаютъ новый періодъ духовнаго развитія поэта, но никогда— конецъ его, послѣ котораго личность въ каждый данный моментъ обнаруживаетъ себя одной и той же единой и цѣльной сущностью.

Пушкину предстоялъ длинный путь борьбы съ самимъ собой, переработки отдѣльныхъ частныхъ сужденій, подавленія многихъ страстныхъ порывовъ, длинный путь самоограниченія и самоотреченія. И этотъ путь былъ тѣмъ труднѣе, что въ самомъ поэтѣ не выкристаллизовалось твердыхъ и опредѣленныхъ убѣжденій. Смутныя предчувствія, не совсѣмъ ясныя идеи, которыя скорѣе можно отнести къ эмоціональнымъ, чѣмъ къ чисто-теоретическимъ переживаніямъ, могли лишь опредѣлить общее направленіе духовной эволюціи поэта, сказавшееся въ стихотвореніяхъ пименовскаго цикла, но, конечно, не были въ состояніи замѣнить законченное міросозерцаніе и сыграть его могущественную роль въ преодолѣніи индивидуалистическихъ стремленій.

А сюда слѣдуетъ еще присоединить и исключительно суровыя внѣшнія обстоятельства жизни поэта. Въ знакъ своего глубокаго уваженія къ генію царь Николай окружилъ его цѣпью двойной цензуры, усиленнаго надзора и постоянно „держалъ его при себѣ“, очевидно, какъ „умнѣйшаго человѣка Россіи“. Пушкину было отказано даже въ тѣхъ возможностяхъ культурной работы и независимости, которыми пользовались русскіе обыватели. Та виньетка, которая безпрепятственно проходила на книгѣ бездарности, возбуждала цензурныя тревоги на его сборникѣ, свобода передвиженія, которой пользовался пошехонецъ, была ему воспрещена и пр., Всѣ попытки объективно-цѣнной дѣятельности разбивались, какъ о каменную стѣну, о жандармское тупоуміе правящихъ, о скиѳскіе нравы и дикую некультурность общества. Каждое начинаніе, каждая мечта о безкорыстномъ служеніи „пѣвца, призваннаго небомъ“, несли ему лишь горькія разочарованія, обиды и оскорбленія. Не мудрено, что при такихъ условіяхъ мысль забросить всякую заботу объ общественно-полезной работѣ и всецѣло замкнуться въ тѣсномъ кругу личныхъ интересовъ, „себѣ лишь самому служить и угождать“— эта мысль все настойчивѣе и настойчивѣе овладѣвала поэтомъ и казалась единственно благоразумной.

Отвѣчая неумолчному ропоту его собственной души, жаждавшей тихаго покоя и счастья, сама жизнь, казалось, кричала ему: оставь всякіе помыслы о другихъ, о Россіи, о борьбѣ за „просвѣщеніе“. Тутъ ты ничего не можешь сдѣлать. Спасай себя самого, позаботься о себѣ. Отойди отъ зла и сотвори благо“.

И подъ вліяніемъ этихъ двухъ силъ — силы внутренняго, неугасимаго и—въ извѣстныхъ предѣлахъ и формахъ—вполнѣ законнаго стремленія къ счастью, къ устройству личной жизни и силы внѣшнихъ обстоятельствъ, безжалостно разрушавшихъ всѣ иллюзіи насчетъ культурнаго подвига,—въ поэтѣ пробуждались прежнія рѣзко-эгоистическія и эгоцен-

трическія настроенія, подчасъ совершенно заглушавшія пименовскія, возвышенныя переживанія и отливавшіяся въ такія рѣзкія формы, какъ стихотвореніе 1836 г. „Изъ VI Пиндемонте“:

Иныя, лучшія мнѣ дороги права,
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. *Никому*
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ;
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье, вотъ права!.. (VI, 213).

Поскольку это стихотвореніе отстаиваетъ первенствующее значеніе личной независимости, „*самостоянье* человѣка, залогъ *величія* его“, постольку оно безусловно согласуется съ идеей объективнаго назначенія земной жизни личности и вполнѣ послѣдовательно вытекаетъ изъ него. Можно только удивляться, откуда взялись у русскаго человѣка эти англійскія точки зрѣнія, но нельзя ничего возразить противъ нихъ. Но пьеса идетъ гораздо дальше: она намѣчаетъ идеалъ счастья, и этотъ идеалъ, гдѣ центромъ является эгоистическое наслажденіе, не только подлежитъ суровой моральной критикѣ, но и противорѣчитъ общимъ воззрѣніямъ поэта по этому предмету.

Легко замѣтить, что эти формулы совершенно несогласны и съ тезисомъ 1831-го года: „на свѣтѣ счастья нѣтъ, а *есть покой и воля*“, и съ общими программами его воображаемой жизни въ деревнѣ, гдѣ наиболѣе почетное мѣсто отводится „трудамъ поэтическимъ“, заботѣ о крестьянахъ и пр. Тутъ счастье: „покой и воля“, „самостоянье“ —

лишь *залогъ величія* человѣка, которое достигается въ процессѣ объективно-цѣннаго созиданія, внѣшняя обстановка для *трудовой* жизни; тамъ оно—и форма и содержаніе: личная независимость нужна для наиболѣе интенсивнаго личнаго наслажденія жизнью. Правда, теоретически обѣ эти формы рѣшенія вопроса о назначеніи человѣка не отчетливо разграничивались въ сознаніи Пушкина, но эмоціонально онѣ принадлежали къ двумъ рѣзко отличнымъ рядамъ переживаній. Если сельскія мечтанія поэта, полныя тихой и ясной покорности, смутно восчувствующія религіозное начало жизни, тѣсно примыкаютъ къ идеалистической реабилитаціи быта, данной въ типѣ Бѣлкина, въ „Капитанской дочкѣ“ (ср. А. Григорьева), связываются психологически съ бодрымъ и яснымъ пріятіемъ міра, съ перспективой исполненія „завѣщаннаго долга“: „отрѣшить воловъ отъ плуга на послѣдней бороздѣ“, то настроеніе Пиндемонте воскрешаютъ эгоцентрическія тенденціи Алеко и Кавказскаго Плѣнника [1]).

Временами эти настроенія усиливаются, всецѣло охватываютъ поэта, разрушаютъ въ немъ всѣ воззрѣнія, пріобрѣтенныя съ такимъ трудомъ. Въ немъ постоянно происходитъ борьба между эгоцентрическимъ и объективнымъ переживаніемъ жизни, между идеями и настроеніями „Памятника“ и Пиндемонте, „Стансовъ“ и стихотворенія „Даръ напрасный, даръ случайный“ и пр. И минутами послѣднія одолѣваютъ первыя:

Напрасно я бѣгу къ Сіонскимъ высотамъ—
Грѣхъ гонится за мною по пятамъ.

(II, 189, 1833 г.).

Набросавъ пятаго іюля строфы Пиндемонте, полныя эгоистическаго настроенія, онъ уже двадцать второго перелагаетъ въ великолѣпные стихи прекрасную великопостную молитву Ефрема Сирина, которая

[1]) Подробный анализъ связи „историзма“ Пушкина съ его воззрѣніями на бытъ и назначеніе человѣка авторъ надѣется представить въ ближайшихъ очеркахъ, посвященныхъ изслѣдованію эстетическаго и этическаго развитія поэта.

Всѣхъ чаще мнѣ приходитъ на уста—
И падшаго свѣжитъ невѣдомою силой:
„Владыко дней моихъ! Духъ праздности унылой,
„Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
„И празднословія не дай душѣ моей;
„Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья,
„Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья
„И духъ смиренія, терпѣнія, любви
„И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи".
(II, 213, 1836 г.).

Такъ борются въ немъ противорѣчивыя тенденціи, и въ процессѣ этого боренія передъ нимъ встаютъ проблемы, уже не разъ продуманные, возникаютъ настроенія, уже не разъ пережитыя. Проблемы эти вновь перерѣшаются, настроенія вновь переоцѣниваются. И однимъ изъ самыхъ яркихъ, крупнѣйшихъ памятниковъ этой переоцѣнки является прекраснѣйшая и оригинальнѣйшая изъ поэмъ Пушкина— геніальный „Мѣдный всадникъ".

Нѣкоторыя особенности этой вещи,—замѣчаетъ Брюсовъ— несоотвѣтствіе отдѣльныхъ эпизодовъ безхитростной основной темѣ, введеніе элемента сверхъестественнаго, нерѣдко приподнятый и торжественный тонъ повѣствованія, — все это „заставило критику, съ ея первыхъ шаговъ, искать въ „Мѣд. вс." *второго, внутренняго смысла,* видѣть въ образахъ Евгенія и Петра *воплощенія, символы двухъ началъ* (курсивъ нашъ). Было предложено много разнообразнѣйшихъ толкованій повѣсти, но всѣхъ ихъ, какъ намъ кажется, можно свести къ тремъ типамъ".

„Одни, въ числѣ ихъ Бѣлинскій, видѣли смыслъ повѣсти въ сопоставленіи коллективной воли и воли единичной, личности и неизбѣжнаго хода исторіи".

„Другіе, мысль которыхъ всѣхъ отчетливѣе выразилъ Д. Мережковскій, видѣли въ двухъ герояхъ „Мѣднаго всадника" представителей двухъ изначальныхъ силъ, борющихся въ

европейской цивилизаціи: язычества и христіанства, отреченія отъ своего *я* въ Богѣ и обожествленія своего *я* въ героизмѣ".

Третьи наконецъ, (сюда относится и самъ Вал. Брюсовъ. *Б. Э.*) видѣли въ Петрѣ воплощеніе самодержавія, а „злобномъ" шопотѣ Евгенія — мятежъ противъ деспотизма" [1]).

Дальнѣйшее изложеніе покажетъ, къ какому изъ этихъ мнѣній примыкаемъ мы сами, а пока намъ важно отмѣтить, что вся русская критика признавала и признаетъ „второй, внутренній смыслъ" поэмы. Внѣшній сюжетъ произведенія только знакъ для изображенія какой-то глубокой, внутренней трагедіи, въ пониманіи которой истолкователи расходятся самымъ рѣзкимъ образомъ. Внѣшній стимулъ—отвѣтъ на вызовъ Мицкевича [2]) — только послѣдній толчокъ для творческаго возсозданія тайныхъ мукъ, „шума внутренней тревоги", подъ бременемъ которой изнемогалъ поэтъ. Въ другомъ мѣстѣ мы постараемся выяснить, насколько сознателенъ былъ процессъ этой символизаціи, слѣды которой мы вообще можемъ замѣтить въ прекраснѣйшихъ изъ реалистическихъ произведеній Пушкина. Теперь же мы займемся анализомъ „второго, внутренняго смысла" „Мѣднаго всад.", поскольку въ немъ, въ процессѣ ли абсолютно сознательнаго или же безсознательнаго творчества, раскрылись тѣ или иныя тенденціи развитія его геніальнаго сознанія. Впрочемъ, уже сейчасъ мы съ полнымъ правомъ можемъ подчеркнуть, что именно въ „Мѣд. вс." выраженіе общихъ идей гораздо сознательнѣе, чѣмъ въ другихъ пьесахъ.

Приступая къ разбору поэмы, мы легко можемъ замѣтить, что въ ней мы имѣемъ дѣло съ знакомыми уже для

[1]) Венгеровъ, „Пушкинъ", т. III, стр. 456.

[2]) J. Tretiak: Mickiewicz i Puszkin. Warszawa. 1906 г. (Реферирована книга въ VII вып. „Пушк. и его сов.", стр. 79—109, С. Браиловскимъ).

насъ главными дѣйствующими лицами и событіями; Евгеній—Мѣдный Всадникъ — наводненіе даютъ при первомъ же взглядѣ на нихъ довольно полный аналогъ троичности: БорисъГодуновъ—Пименъ—народное движеніе и Алеко—Старый Цыганъ—стихійная страсть Земфиры. Такимъ образомъ, не предрѣшая заранѣе характера внутренней связи между ними, мы смѣло можемъ въ анализѣ „Мѣднаго всадника“ воспользоваться тѣми же методами, какъ и при изслѣдованіи „Цыганъ“ и „Бориса Годунова“. Тамъ, чтобы выяснить сущность основной антитезы, мы прибѣгали первоначально къ уясненію существенныхъ чертъ главныхъ героевъ и субъективной ихъ значимости, а затѣмъ уже переходили къ характеристикѣ ихъ соотношенія. Этотъ пріемъ мы примѣнимъ къ истолкованію „Мѣднаго всадника“.

Сопоставляя „Родословную моего героя“ съ законченной поэмой, мы убѣждаемся сразу въ двухъ вещахъ: съ одной стороны, въ томъ, что характеристика героя подвергалась значительнымъ измѣненіямъ, съ другой стороны, въ томъ, что съ самаго начала, когда цѣлое пьесы еще только намѣчалось, основной замыселъ ея былъ полонъ субъективныхъ и даже автобіографическихъ чертъ, что поэма выростала на почвѣ личныхъ, мучительныхъ переживаній. Въ самомъ дѣлѣ, тема сопоставленія исхудалаго потомка нѣкогда знатнаго рода петровскому Петербургу съ его нивеллирующей чиновничьей цивилизаціей и придворной знатью новаго стиля была для Пушкина чрезвычайно близкой и соотвѣтствовала тому противорѣчію, которое такъ мучительно ощущалось имъ въ пору его петербургской жизни въ штатѣ царя Николая. Здѣсь могли выразиться его завѣтныя, столь часто проскальзывавшія и въ его прозѣ, и въ его поэзіи мысли. Здѣсь могла уясниться и такъ или иначе субъективно рѣшиться проблема отношенія дворянства къ государству, могъ быть поэтически воплощенъ тотъ вызовъ бюрократическому произволу и чиновничьей гордости, который онъ постоянно посылалъ пе-

тербургскому свѣту, опираясь на свое „шестисотлѣтнее дворянство“ и своеобразно по щербатовски понятаго Монтескье [1]).

И, тѣмъ не менѣе, поэтъ постепенно отказался отъ этой темы. Въ самой поэмѣ шестисотлѣтнее дворянство героя почти не подчеркнуто; о немъ лишь вскользь брошено замѣчаніе да и то съ оговорками: прозваніе героя

... быть можетъ и блистало
И подъ перомъ Карамзина
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало,
Но нынѣ свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Коломнѣ, гдѣ-то служитъ,
Дичится знатныхъ и не тужитъ
Ни о покойницѣ роднѣ
Ни о забытой старинѣ.

(IV, 252).

Въ послѣднихъ строкахъ поэтъ уничтожаетъ какъ бы весь смыслъ и значеніе первыхъ. Въ нихъ отрѣзана психологическая возможность построить антитезу на древнемъ происхожденіи, опереться въ „шопотѣ“ противъ Мѣднаго Всадника на историческую традицію.

Точно также отказался Пушкинъ и отъ намѣренія представить своего героя богатымъ или, по крайней мѣрѣ, состоятельнымъ человѣкомъ, независимымъ петербургскимъ франтомъ, съ фамиліей во вкусѣ тогдашняго романтизма: Зоринъ, Рулинъ и пр. (Ср. варіанты: Въ своемъ роскошномъ кабинетѣ. Въ то время Рулинъ молодой сидѣлъ...; Тогда, по каменной площадкѣ пескомъ усыпанныхъ сѣней... Въ своемъ безмолвномъ кабинетѣ Въ то время Зоринъ молодой сидѣлъ... т. IV, стр. 373—374).

[1]) О непосредственномъ знакомствѣ Пушкина съ Монтескье свидѣтельствуетъ *не доразрѣзанный* экземпляръ сочиненій этого мыслителя въ его библіотекѣ. Ср. также свидѣт. А. Н. Вульфа. Майковъ, 176, Пушк. и его совр., IX—X, 293.

Въ окончательной редакціи своей поэмы Пушкинъ отнялъ отъ героя идеальную силу родовитости и практическую, житейскую мощь состоятельности. Его герой обнищалъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова и въ то же время лишился послѣдняго оружія и устойчивости, сдѣлался смиренной пѣшкой, „столичнымъ гражданиномъ, какихъ встрѣчаете вы тьму“ (IV, 367).

Каковъ же смыслъ этого преобразованія? Значеніе его въ обобщеніи. Обнищавши, герой потерялъ свою исключительность, сталъ универсальнѣе и потому гораздо существеннѣе. Потерявъ въ личной значимости, онъ выигралъ въ отношеніи соціальной цѣнности представителя многаго множества „столичныхъ гражданъ“, имя которымъ легіонъ. Этотъ фактъ подмѣтилъ еще Анненковъ, („Матеріалы“, 375 г.) и, опираясь на него, объяснилъ постепенное видоизмѣненіе облика Евгенія чисто-художественными соображеніями поэта, тѣмъ, что „всякая остановка на частномъ лицѣ была бы тутъ примѣтна и противохудожественна“, и Пушкинъ „по глубокому пониманію эстетическихъ законовъ даже старался ослабить и тѣ легкія очертанія, которыми онъ обрисовалъ Евгенія“ (IV, 243). Объясненіе это безусловно правильно, но не полно. Оно справедливо лишь въ предѣлахъ *данной композиціи* поэмы, поскольку мы говоримъ объ осуществленномъ замыслѣ. Но вѣдь мы не знаемъ, какую даль еще неясно различалъ Пушкинъ, когда онъ набрасывалъ первыя строфы „Родословной“. Само собой понятно, что тогда онъ могъ еще такъ повернуть тему, что именно „по глубокому пониманію эстетическихъ законовъ“ ему пришлось бы поднять своего героя и въ родовитости, и въ состоятельности, и въ духовной одаренности.

Необходимость и закономѣрность обобщенія основного образа, обобщенія, при которомъ онъ сталъ представителемъ столичнаго множества, дѣлается понятной только въ томъ случаѣ, если мы признаемъ, что оно является отраженіемъ

обобщенія самой идеи произведенія, что характеристика героя произведенія эволюціонируетъ вмѣстѣ съ его темой. И, дѣйствительно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что видоизмѣненію типа Евгенія соотвѣтствовало въ процессѣ созиданія видоизмѣненіе всего замысла: очевидно, что проблема, которую Пушкинъ замышлялъ поставить въ „Родословной", сильно разнится отъ проблемы, воплощенной въ „Мѣдномъ Всадникѣ". Можно даже сказать, что, кромѣ брошеннаго вскользь замѣчанія о происхожденіи Евгенія, въ законченной поэмѣ не осталось и слѣда отъ первоначальнаго плана, такъ что объясненіе эволюціи образа Евгенія цензурными условіями при наличности одной и той же темы, какъ это думаетъ П. Морозовъ (IV, 239), слѣдуетъ признать психологически невозможнымъ: настроенія „Родословной" настолько основательно исчезли изъ поэмы, что является совершенно непонятнымъ, какъ поэтъ могъ бы создать такое произведеніе, оставаясь при старомъ заданіи.

Что же сдѣлалось съ темой? Отвѣтъ на этотъ вопросъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: она также обобщилась, потеряла значительную долю своей исторической конкретности, какъ и образъ самого героя. Относительно частный вопросъ, отвѣчающій опредѣленному мѣсту и времени, замѣнился болѣе общей проблемой, выходящей за предѣлы опредѣленныхъ историческихъ рамокъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно дать подробный анализъ всей поэмы и показать, что при такомъ поворотѣ замысла она не утратила своего субъективнаго значенія, что, измѣнивъ тему, поэтъ остался все же въ сферѣ субъективно важныхъ и дѣйственныхъ идей и переживаній.

Итакъ, носителемъ какой идеи сдѣлался герой произведенія. лишившись родовитости, т. е. психологической возможности выступать въ качествѣ потомка судьбой обиженныхъ родовъ? Какое же начало могъ представлять въ противопоставленіи съ Петромъ этотъ

Гражданинъ столичный,
Какихъ встрѣчаемъ всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
Отъ нашей братьи не отличный,
Благопристойный и простой,
А впрочемъ—малый дѣловой [1])?

Недоумѣніе наше можетъ выясниться только изъ разбора думъ и мечтаній, идеологіи бѣднаго чиновника. Вотъ онъ впервые появляется на сценѣ поэмы:

И такъ, домой пришедъ, Евгеній
Стряхнулъ шинель, раздѣлся, легъ—
Но долго онъ заснуть не могъ
Въ волненьи разныхъ размышленій.
О чемъ же думалъ онъ? О томъ,
Что былъ онъ бѣденъ; что трудомъ
Онъ долженъ былъ себѣ доставить
И независимость и честь;
Что могъ бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ, что вѣдь есть
Такіе праздные счастливцы,
Ума недальняго лѣнивцы,
Которымъ жизнь куда легка!

Но это же „*волненье* разныхъ размышленій“ гораздо лучше и многозначительнѣе передано въ невошедшемъ въ окончательный текстъ варіантѣ, гдѣ дана и положительная программа незатѣйливыхъ его мечтаній:

Тутъ онъ разнѣжился сердечно
И размечтался какъ поэтъ.
„Жениться? Что-жъ? Зачѣмъ же нѣтъ,
„И въ самомъ дѣлѣ? Я устрою

[1]) Это — послѣдняя строфа „Родословной“, показывающая, что видоизмѣненіе образа и темы совершилось уже въ процессѣ созиданія этого варіанта, почему онъ и остался незаконченнымъ. Увидѣвъ, что тема измѣнилась, Пушкинъ бросилъ первый набросокъ и началъ новый.

„Себѣ смиренный уголокъ
„И въ немъ Парашу успокою.
„Кровать, два стула, *щей горшокъ*
„*Да самъ большой*... чего мнѣ болѣ?
„Не будемъ прихотей мы знать;
„По воскресеньямъ лѣтомъ въ полѣ
„Съ Парашей буду я гулять;
„Мѣстечко выпрошу; Парашѣ
„Препоручу хозяйство наше
„И воспитаніе ребятъ...
„И станемъ жить, и такъ до гроба
„Рука съ рукой дойдемъ мы оба,
„И внуки насъ похоронятъ".

(IV, вар., стр. 375).

Эти двѣ картины „разныхъ размышленій", которыя мы имѣемъ полное право не только сопоставить, но и связать, такъ едины онѣ по тону и настроенію, ясно указываютъ, представителемъ чего является Евгеній. Онъ—носитель идеала мѣщанскаго городского счастья, маленькаго личнаго довольства въ тѣсныхъ предѣлахъ семейнаго круга, идеологъ сѣренькаго буржуазнаго покоя и узкой независимости.

Строго говоря, на этой оцѣнкѣ сходятся представители всѣхъ трехъ вышеперечисленныхъ направленій (прекрасно формулировалъ ее П. В. Анненковъ. „Идеалы Пушкина", „В. Евр." 1880 г., № 6). Лишь въ послѣднее время Д. С. Мережковскій попытался дополнить ее существенными замѣчаніями.

Въ „Мѣдномъ всадникѣ"—говоритъ онъ: „вѣчная противоположность двухъ героевъ, двухъ началъ: Тазита и Галуба, Стараго Цыгана и Алеко, Татьяны и Онѣгина... Съ одной стороны, малое счастье малаго, невѣдомаго коломенскаго чиновника, напоминающаго смиренныхъ героевъ Достоевскаго и Гоголя, съ другой—сверхчеловѣческое видѣніе героя". И далѣе: по поводу шопота Евгенія: „Судъ малаго

надъ великимъ произнесенъ... Вызовъ брошенъ, и спокойствіе горделиваго истукана нарушено..." [1]).

Съ этой точки зрѣнія Евгеній призванъ судить и приговаривать Мѣднаго Всадника, онъ тотъ „малый", передъ кѣмъ приходятъ въ безпокойство великіе, и Мережковскій безъ всякихъ оговорокъ включаетъ его въ рядъ Стараго Цыгана, Пимена, Татьяны, Бѣлкина, Миронова и другихъ. Онъ—не только идеологъ малаго счастья, но и символъ христіанской любви къ малымъ, внутренняго самоотреченія и самоограниченія, терпѣнія и смиренномудрія.

Съ подобнымъ воззрѣніемъ трудно согласиться. Между Евгеніемъ и Старымъ Цыганомъ, простодушнымъ Бѣлкинымъ, Татьяной и другими лежитъ непроходимая пропасть. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно поставить Стараго Цыгана на мѣсто героя „Мѣднаго всадника". Въ самомъ дѣлѣ, что бы сдѣлалъ этотъ представитель эпической мудрости при столь тяжелыхъ обстоятельствахъ? Возмутился ли бы его духъ, помутился ли бы его умъ? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ. Въ стихійномъ бѣдствіи онъ увидѣлъ бы волю слѣпого рока и смиренно подчинился бы ей, ограничился бы еще болѣе и совсѣмъ ушелъ въ себя. Во всѣхъ этихъ людяхъ, отъ Стараго Цыгана до нѣжной Татьяны и простоватаго солдата Миронова живетъ какая-то смутная „любовь къ року", огромная и мудрая сила покорности непреложному и непреодолимому. И жизнь ихъ, зачастую трудная и скорбная, не прогулка лѣтомъ по полю, а служеніе тому, что имъ кажется высшимъ.

Конечно, они не знаютъ объ этомъ, говоря точнѣе, узнаютъ объ этомъ только въ критическую минуту, но въ эту минуту они вдругъ вырастаютъ, становятся великими, становятся героями. И тогда тѣ, кто обычно относятся къ нимъ со снисходительнымъ презрѣніемъ и прямымъ неуваженіемъ, вдругъ съ смущеніемъ чувствуютъ недосягаемую для себя

[1]) Д. Мережковскій, „Собр. сочин.", т. XIII, 34 г.

высоту ихъ духа. Такъ выпрямляется Татьяна передъ Онѣгинымъ: „но я другому *отдана*, я буду вѣкъ ему вѣрна“ (Можно, конечно, возмущаться этими словами, какъ проявленіемъ закоренѣлыхъ предразсудковъ, но нельзя не признать ихъ огромной моральной мощи). Такъ всталъ во весь свой ростъ невзрачный Мироновъ передъ Пугачевымъ. Такъ повелъ бы себя и Бѣлкинъ, если бы ему случилось попасть въ подобныя обстоятельства. Они не сходятъ съ ума; въ моментъ катастрофы выступаетъ наружу ихъ могучая духовная стойкость, и, конечно, никто изъ нихъ не обнаружилъ бы той позорной трусости, какую проявилъ несчастный Евгеній: рѣшившись на борьбу. они смѣло и мужественно пошли бы до самаго конца.

Но въ процессѣ спокойной обывательской жизни они и не подозрѣваютъ о своей силѣ. Они живутъ безсознательно, стихійно, мощь ихъ еще не осознанная, непосредственная мощь нетронутаго рефлексіей цѣльнаго народнаго сознанія. И недаромъ эти герои Пушкина — представители провинціи и деревни. Городъ, особенно „искусственный“ Петербургъ, еще не разрушилъ ихъ цѣльной психики, не оторвалъ ихъ отъ народа съ его религіознымъ переживаніемъ жизни. И эта стихійная религіозность, не укладывающаяся, впрочемъ, въ рамки исторически-опредѣленныхъ вѣрованій, составляетъ незримую основу ихъ духовной и практической жизни.

Не то Евгеній. Это именно „столичный гражданинъ“, „какихъ встрѣчаете вы тьму“. Онъ да его близкій родственникъ инженеръ Германъ,—основные городскіе образы Пушкина. Это нужно особенно подчеркнуть. Ихъ психологія не имѣетъ ничего общаго съ психологіей провинціальныхъ, еще близкихъ народу, смиренномудрыхъ героевъ поэта. Столица наложила на нихъ свой особенный отпечатокъ, разрушила цѣльность и непосредственность ихъ воли, порвала всякую связь между ними и стихійнымъ народнымъ сознаніемъ. Они гораздо болѣе свободны отъ всякихъ устарѣлыхъ предраз-

судковъ, но они лишены и культурной традиціи, непререкаемыхъ завѣтовъ предковъ. Русская городская жизнь, а въ въ особенности жизнь „искусственнаго“ Петербурга не создала своей культуры. На Западѣ городъ развивался постепенно, въ процессѣ высокаго культурнаго творчества: ратуша, цехъ, университетъ воспитывали горожанина въ томъ смыслѣ, что создавали въ его душѣ рядъ убѣжденій и вѣрованій, которыя казались неподлежащими критикѣ, создавали циклъ понятій о чести, обязанности и долгѣ, которыя принимались догматически, всасывались съ молокомъ матери. Благодаря этому, съ одной стороны, критическая мысль не пользовалась безусловнымъ господствомъ въ сознаніи городского жителя: она постоянно встрѣчала въ своихъ анализахъ предѣлъ, его же не прейдеши, а, съ другой стороны, и сама воля въ своихъ устремленіяхъ духовнаго и практическаго порядковъ неуклонно наталкивалась на такія нормы, которыя переживались личностью какъ непререкаемо-высшее, чего нельзя нарушить. Во всѣхъ направленіяхъ духъ человѣческій формировался подъ знакомъ выполненія извѣстныхъ заповѣдей-традицій, систематически пріучаясь къ самоограниченію во имя долга. И это придавало его волѣ огромную устойчивость въ минуту личнаго несчастья, а его мышленію внутреннюю сдержанность и благообразіе.

Совсѣмъ иначе дѣйствовалъ городъ, по преимуществу Петербургъ, у насъ въ Россіи. У насъ не развивалось самостоятельной городской культуры, охватывавшей всѣ области человѣческой духовной дѣятельности, не было процесса медленнаго созиданія особой формы человѣческой жизни. Городъ-самостоятельный организмъ поглощался городомъ-административнымъ центромъ, и представитель администраціи, безличный канцелярскій служитель создавалъ его идеологію. Отрывая личность отъ народа, разрушая въ ней сословную, земскую традицію, городъ не давалъ ей взамѣнъ новыхъ культурныхъ нормъ быта, системы новыхъ культурныхъ „пред-

разсудковъ". Личность оказывалась вполнѣ свободной, и какъ ея воля могла развивать свои влеченія, не встрѣчая внутреннихъ ограниченій, такъ и ея мысль могла подвергать все своему разъѣдающему анализу, не наталкиваясь ни на какія запрещенія. Діалектика становилась огромной, страшной силы, силлогизмъ пріобрѣталъ особенное значеніе, становился на мѣсто прежней органической выработавшейся, наполовину безсознательной нормы. Это уже обнаруживается въ Германѣ, который *отданъ* подъ безграничную и страшную власть чистой идеи, и еще сильнѣе вспыхиваетъ въ его наслѣдникахъ [1]) петербургскихъ герояхъ Достоевскаго, которые не мыслятъ, а управляются мыслью. И не случайно два единственныхъ столичныхъ героя Пушкина кончаютъ сумасшествіемъ. Культурная традиція не только положительный результатъ человѣческаго творчества, но и шоры, предохраняющія мысль отъ безумныхъ скачковъ въ сторону, выравнивающія направленіе ея развитія. Человѣкъ, абсолютно свободный отъ всѣхъ предразсудковъ, стоитъ на границѣ безумія, потому что мысль, не знающая стѣсненій, не только не гарантируетъ строгой гармоничности сознанія, но и дѣйствуетъ на него разрушительно. Само собой разумѣется, что къ Евгенію это послѣднее приложимо лишь отчасти, въ своей отрицательной формѣ. Діалектика въ немъ еще отсутствуетъ. Лишенный духовной опоры въ воспитывающихъ волю къ самоограниченію культурныхъ нормахъ быта, свободный отъ всякихъ дѣдовскихъ завѣтовъ, онъ пока еще не подпалъ подъ власть голой мысли. Его сознаніе уже потеряло свою устойчивость, но не подчинилось идеѣ. Онъ—человѣкъ съ опустошенной, пустой отъ всякой культуры душой, „нищій духомъ", но не изъ тѣхъ, которые блаженны, а изъ тѣхъ, которые сходятъ съ ума, за которыми съ тяжелымъ топотомъ гонится Мѣдный Всадникъ.

[1]) См. Д. Мережковскій, „Толстой и Достоевскій", „Соб. сочин.", т. VIII. стр. 111—12.

Евгеній - не представитель земской культуры, отъ которой онъ оторвался (вѣдь, онъ „не тужитъ ни о покойницѣ роднѣ, ни о забытой старинѣ"), ни городской, которой у насъ не было; онъ—представитель космополитической, мертвой въ культурномъ смыслѣ, только цивилизующей бюрократіи,—чиновникъ прежде и больше всего. Его жизнь—не служеніе, а служба въ самомъ буквальномъ, прозаическомъ смыслѣ этого слова; его трудъ—не творческое созиданіе, въ чемъ бы оно не выражалось, а автоматическая переписка и исполненіе мертвыхъ, безразличныхъ бумагъ; его смиреніе—униженная робость („*мьстечко выпрошу*") передъ грознымъ начальникомъ, которому, впрочемъ, зарвавшись (сойдя съ ума!), можно наговорить дерзостей, а не сознательное подчиненіе высшей силѣ; и, соотвѣтственно этому, его идеалы не выходятъ за предѣлы мечтаній о легкой жизни.

Въ этомъ легко убѣдиться, проанализировавъ подробнѣе его размышленія. Въ нихъ прежде всего поражаетъ отсутствіе сознанія необходимости труда, непониманіе его цѣнности и обязательности для человѣка. Евгеній скорбитъ о томъ, что „трудомъ онъ долженъ былъ себѣ доставить и независимость и честь", и съ завистью поглядываетъ на „праздныхъ счастливцевъ, ума недальнаго, лѣнивцевъ, которымъ жизнь куда легка". Вотъ кѣмъ бы ему хотѣлось быть. Тутъ, если не его идеалъ, то, по крайней мѣрѣ, великое искушеніе. Искушеніе настолько серьезное, что его старшій братъ, болѣе рѣшительный и страстный Германъ, перешагнетъ ради быстраго и легкаго обогащенія черезъ обманъ, надругательство надъ человѣческимъ чувствомъ и почти убійство, чтобы затѣмъ пасть подъ тяжестью принятаго на себя преступленія.

Оба они—и Евгеній и Германъ—относятся къ процессу строительства личной жизни нѣсколько по-чичиковски. Медленное, трудовое созиданіе хотя бы матеріальнаго блага кажется имъ тяжкой и обидной обузой, такъ какъ оба они не уважаютъ труда, не постигаютъ цѣнности жизни, какъ

исполненія обязанности и длительнаго творчества, которое вообще чуждо ихъ чиновничьей психикѣ. И въ одномъ эта свобода отъ традицій и презрѣніе къ трудовой жизни рождаютъ безумное рѣшеніе однимъ прыжкомъ, хотя бы и черезъ преступленіе, перескочить изъ царства суровой необходимости въ царство свободной праздности, а въ душѣ другого, болѣе робкаго и забитаго, поселяютъ жалкую зависть къ счастливцамъ, отъ которой онъ спасается въ трусливыхъ мечтаніяхъ о счастливой жизни соотвѣтственно своимъ средствамъ.

Мы сказали „трусливыхъ“ не нечаянно. Трусость, боязнь жизни характерна для Евгенія. Вѣдь его мечтанія вовсе не соотвѣтствуютъ его идеалу. Изучая жизнь Миронова, Гриневыхъ, Бѣлкина, мечту Татьяны:

Сейчасъ отдать *я рада,*
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ.
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище... (IV, 205),

—и самого Пушкина („Поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтическіе и т. д.“), мы видимъ, что здѣсь скромность требованій психически мотивируется не робостью, а чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Мироновъ, Гриневы, Бѣлкинъ (если оставить безъ вниманія его трогательныя, достойныя всякаго уваженія стремленія къ писательству) вполнѣ довольствуются тѣмъ, что у нихъ есть. Люди національнаго русскаго быта, они и не представляютъ себѣ возможности жить иначе, чѣмъ жили ихъ отцы. Въ тихомъ бытіи, подъ знакомъ вѣковой традиціи, они осуществляютъ сполна всѣ свои стремленія и желанія и органически не могутъ ни тяготиться своимъ существованіемъ по завѣтамъ предковъ, ни тѣмъ болѣе завидовать кому-либо.

Татьяна и самъ Пушкинъ стремятся въ деревню, потому что тяготятся блескомъ, шумомъ и чадомъ свѣтскаго маскарада, потому что имъ кажется, что только тамъ они смогутъ

осуществить свой идеалъ осмысленной, честной и трудовой жизни. Ихъ требованія скромны не потому, что они не надѣются на большее, но потому, что именно это соотвѣтствуетъ ихъ вкусамъ, убѣжденіямъ и вѣрованіямъ.

Не то Евгеній. Ему бы, конечно, хотѣлось гораздо бо́льшаго, чѣмъ тѣ картины, которыя рисуетъ его воображеніе. Передъ нимъ, какъ и передъ Чичиковымъ, проносятся соблазнительныя видѣнія праздной и легкой жизни богатаго лѣнивца, но онъ гонитъ ихъ прочь, такъ какъ не видитъ никакой возможности реализовать ихъ для себя и своей семьи. Ему и въ голову не приходитъ мысль объ упорной борьбѣ за лучшія формы существованія, о мужественномъ завоеваніи иного благого жребія; свое наличное положеніе онъ принимаетъ за величину постоянную, и, стоя на этой мертвой точкѣ, комбинируетъ всѣ свои планы о счастьѣ. Въ его жизненной программѣ не чувствуется никакой надежды хотя бы на матеріальный прогрессъ; нѣтъ мечты о покореніи и пріобрѣтеніи, а жалкая попытка хоть какъ-нибудь, хоть кое какъ урвать отъ жизни кусочекъ счастья, *выпросить мѣстечко*, устроить *смиренный уголокъ* и, не зная прихотей, довольствоваться лѣтними, воскресными прогулками въ полѣ. Это—чистопетербургскій, чисто-чиновничій savoir vivre, глубоко враждебный всякой культурѣ, унизительный для человѣческаго достоинства, ничтожный и растлѣвающій душу, мертвый идеалъ премудраго пискаря.

Евгеній боится жизни и не рискуетъ вступить съ ней въ бой. Напротивъ, онъ тщательно отгораживается отъ всѣхъ и вся, ищетъ покоя и невозмутимости, дрожа отъ страха, прячется въ свою нору. Но эта боязнь не случайна, она тѣсно связана съ его воззрѣніями на самую сущность жизни, съ его отношеніемъ къ труду, наслажденію, обязанности и долгу. Это не только боязнь, но и своеобразное скрытое непріятіе міра.

Строго говоря, укладъ жизни празднаго счастливца и укладъ жизни маленькаго чиновника, изъ которыхъ первый

является для Евгенія недосягаемой мечтой, объектомъ робкой зависти, а второй—возможной и исполнимой программой личнаго существованія,—чрезвычайно сходны между собой. Сходны они не только въ томъ, что за ними обоими не чувствуется никакого иного стремленія, кромѣ стремленія къ личному благу, не видно признанія обязанности и долга, подчиненія чувственныхъ влеченій своего *я* чему-нибудь высшему, но и потому—и это главное—что сама проблема личнаго блага ставится ими совершенно одинаково. Даже въ предѣлахъ осуществленія *своего* счастья представители этихъ укладовъ думаютъ обойтись безъ борьбы. Они не видятъ и не хотятъ видѣть, что процессъ общей жизни вовсе не направленъ къ ихъ удовлетворенію, что это удовлетвореніе должно быть вырвано изъ когтей универсальной необходимости дѣятельностью смѣлой и увѣренной воли и что это ограниченіе индивидуальнаго влеченія должно быть покорно признано и положено въ основу всего эгоистическаго поведенія личности. Евгеній не дѣлаетъ даже этой уступки объективному воззрѣнію на міръ. Его желаніе, его стремленіе къ наслажденію должно удовлетворяться не въ процессѣ борьбы, цѣнности и радости которой онъ не понимаетъ,—а сейчасъ, немедленно, безъ всякаго напряженія съ его стороны. Иного счастья для него не существуетъ: разъ блаженство должно быть завоевано постепенно, привольное и благополучное житіе должно быть создано шагъ за шагомъ,—оно уже не блаженство, и жизнь лишена покоя и довольства. И если нельзя сразу зажить празднымъ лѣнивцемъ, который легко и безъ борьбы удовлетворяетъ всѣмъ своимъ самымъ пышнымъ желаніямъ, то надо просто сократить свои желанія до такой степени, чтобы они могли свободно и сразу осуществляться при наличныхъ условіяхъ. Въ своей основѣ оба уклада жизни—формы существованія „лѣнивца“, не признающаго борьбы и творчества, и предпочитающаго довольствоваться малымъ, которое само идетъ въ руки, чѣмъ завоевывать большое.

Идеологія Евгенія—не только эгоистическая идеологія малаго счастья, но и самая рѣзкая форма антроноцентризма вообще. Онъ не только предполагаетъ, что „человѣкъ созданъ для счастья, какъ птица для полета", но и въ его отношеніи къ міру сквозитъ несознанное убѣжденіе, что все создано на благо личности и это благо должно какъ бы прямо валиться на нее съ неба. Его зависть—этотъ тайный ропотъ боязливой души—ясно показываетъ намъ, чего онъ хотѣлъ бы отъ міра и что вызывало его неудовольствіе. И Пушкинъ не даромъ изъ 20 строкъ, посвященныхъ характеристикѣ размышленій Евгенія, половину (10 строкъ) отвелъ описанію завистливыхъ думъ.

При лаконизмѣ „Мѣднаго всадника" это значитъ очень много. Тутъ подчеркнута неустойчивость отношенія Евгенія къ окружающему, его колебаніе между трусливой пассивной покорностью обстоятельствамъ ради крохотнаго кусочка счастья и ропотомъ на судьбу, не давшую ему сразу большой кусокъ вождѣленнаго пирога. И въ основѣ этихъ колебаній лежитъ безсознательный эгоцентризмъ общихъ воззрѣній, отсутствіе крѣпкихъ традицій и понятія обязанности и долга, служенія и творчества.

Такъ изъ-подъ маски нищаго забитаго чиновника выступаетъ передъ нами знакомое лицо пресловутаго „всечеловѣка", русскаго le citoyen du monde. Мы узнаемъ его, вѣчнаго бунтаря. Какъ же! онъ съ кинжаломъ выступилъ противъ стихійной страсти, онъ проклиналъ неблагодарный народъ, возставшій во имя справедливости и отвергшій знаменитое искушеніе „хлѣбами", теперь онъ замахнулся на Мѣднаго Всадника, потомъ онъ убьетъ старуху и, разростаясь въ фантастическомъ туманѣ петербургскаго утра, постепенно превратится въ цѣлую толпу чудовищныхъ фантастическихъ призраковъ... И повсюду судьба его одна и та же. Всегда онъ кончаетъ плохо: ему, возстающему противъ закона жизни и осужденному этимъ закономъ, выпадаетъ на долю безуміе

и смерть. И такъ и должно быть: безъ „любви къ року“ нѣтъ любви къ жизни, нѣтъ достаточной силы для самоутвержденія личности въ потокѣ космическаго бытія.

Но какое превращеніе! Какъ слинялъ и обнищалъ этотъ скиталецъ за годы своихъ странствій! Метаморфоза, происшедшая съ нимъ, настолько значительна, что невольно возникаютъ сомнѣнія въ безупречности его родословной. Ужъ не ошибаемся ли мы, видя его происхожденіе отъ такихъ именитыхъ предковъ?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны перейти отъ анализа характера Евгенія къ изслѣдованію внутреннихъ мотивовъ созданія поэмы. Проблема, на нашъ взглядъ, ставится такимъ образомъ. „Первоначальный замыселъ произведенія—тема Родословной“ явственно отмѣчена печатью субъективности, стремленіемъ поэтически выразить личную, интимную драму. Затѣмъ замыселъ видоизмѣнился: идея пьесы сдѣлалась универсальнѣе, тема подверглась обобщенію. Что же произошло въ этотъ моментъ съ внутренней мотиваціей творчества? Утратило ли оно свою субъективную значимость или нѣтъ, перешелъ ли поэтъ къ воплощенію объективныхъ образовъ или онъ попрежнему остался при выраженіи личныхъ переживаній? И если общій тонъ творчества не измѣнился, то почему поэтъ избралъ носителемъ своей собственной драмы ничтожнаго чиновника, а не какого-нибудь героя по типу Алеко?

Таковы тѣ „pourquois“, которые должны разрѣшить наши сомнѣнія относительно генезиса Евгенія. И, забѣгая впередъ, мы можемъ сказать, что чудесной эволюціи пушкинскаго героя-индивидуалиста соотвѣтствуетъ эволюція личныхъ вкусовъ поэта и его художественной манеры.

Пушкинъ самъ описалъ эту эволюцію:

Но, муза! Прошлое забудь.
Какія бъ чувства ни таились
Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ:

Они прошли иль измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...
Другіе дни, другіе сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтическій бокалъ
Воды я много подмѣшалъ.
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косо́горъ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи—
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ;
Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеалъ теперь—хозяйка,
Мои желанія—покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой.

(„Евг. Он.“, „Странствіе,“ XV, XVI, курсивъ Пушкина).

Мы выписали эту длинную цитату, искренность и справедливость которой подтверждается значительнымъ количествомъ біографическихъ данныхъ, потому, что она прекрасно объясняетъ намъ, что именно произошло съ Алеко за послѣднія десять лѣтъ жизни поэта. Прозаизмъ наложилъ свою печать не только на литературнаго героя Пушкина, но и на

него самого. „Смирились вы, моей весны высокопарныя мечтанья—восклицаетъ поэтъ:—и въ поэтическій бокалъ воды я много подмѣшалъ". Il n'est de bonheur que dans les voies communes—пишетъ онъ другу въ 31 году (VIII, 235)—и упорно и настойчиво стремится на эти торные пути. Но счастье торныхъ дорогъ имѣетъ совершенно особый характеръ. Тутъ нечего мечтать о смѣлыхъ порывахъ и полной свободѣ, о яркости и красочности существованія, о дикой прелести степей и торжественномъ величіи горъ. На voies communes счастье сѣренькое, обывательское, опутанное мелкими заботами и безцвѣтными радостями. Въ лучшемъ случаѣ, это—мирное и тихое житіе, въ худшемъ—жалкое прозябаніе, изнурительная погоня за кускомъ хлѣба.

Конечно, и въ этомъ счастьѣ есть здоровый и крѣпкій элементъ. Торныя дороги нельзя отвергнуть цѣликомъ. Вѣдь ихъ прокладываетъ—именно потому, что онѣ торныя—не отдѣльная заблуждающаяся личность, а сама исторія. Но, намѣчая эти пути, исторія вовсе не дѣлаетъ ихъ самоцѣлью. Напротивъ, осуществляя высшія объективныя цѣнности, которыя не имѣютъ ничего общаго съ человѣческимъ благомъ и страданіемъ, историческій процессъ создаетъ торныя дороги лишь какъ средство для объективнаго творчества, какъ извѣстную форму приспособленія человѣка къ жизни, которая должна быть наполнена содержаніемъ совершенно иного порядка. И только въ качествѣ такой формы, какъ залогъ величія человѣческаго, достигаемаго сознательнымъ или безсознательнымъ объективно-цѣннымъ творчествомъ, счастье торныхъ дорогъ получаетъ полное оправданіе и передъ самой личностью и передъ исторіей. Если же человѣкъ переживаетъ это счастье какъ самоцѣль, очерчиваетъ имъ кругъ своего существованія, то оно утрачиваетъ свою законность и становится враждебной процессу общей жизни идеологіей эгоцентризма, жалкой по ничтожности своихъ требованій и глубоко-антикультурной по своей сущности.

Остепенившійся, утомленный Пушкинъ принялъ и благословилъ это счастье именно какъ форму независимой жизни уважающаго себя работника; это пріятіе было у него тѣсно связано съ идеалистической оцѣнкой быта вообще и сельской жизни въ частности. Но, разъ пріявъ его, полюбивъ скромное бытіе „мѣщанина", онъ, подъ вліяніемъ индивидуалистическихъ настроеній, сдѣлалъ изъ своего новаго блага самоцѣль и сталъ снова передъ той же проблемой эгоистическаго счастья личности, передъ которой онъ остановился въ юности.

Строго говоря, врядъ ли онъ и вообще опредѣленно различалъ эти формы отношенія къ вопросу личной жизни. Онѣ сливались для него воедино, причемъ преобладающее значеніе пріобрѣтала то одна, то другая изъ нихъ. И въ первомъ случаѣ получались его собственныя программы осмысленной трудовой жизни въ деревнѣ, за которыми виднѣлись образы Татьяны и Маши, Гриневыхъ и Мироновыхъ, во второмъ— программа Евгенія. Въ его міровоззрѣніе Пушкинъ вложилъ эгоцентрическія переживанія зрѣлаго возраста совершенно такъ же, какъ нѣкогда въ образѣ Алеко онъ воплотилъ бурные порывы своей неистовой молодости. Разница между этими героями является отраженіемъ различія между эгоистическими стремленіями и вкусами молодого и взрослаго Пушкина. Когда ему „казались нужны пустыни, волнъ края жемчужны, и моря шумъ, и груды скалъ, и гордой дѣвы идеалъ, и безыменныя страданья",—тогда онъ создалъ драму Алеко, поставилъ проблему счастья въ эффектной, красочной обстановкѣ дикой степи и экзотическаго табора цыганъ. Теперь, когда ему сдѣлались близки сѣренькія тучи, избушка, сломанный заборъ, когда его идеаломъ стала „хозяйка", и желанія ограничились скромной формулой: „покой, да щей горшокъ, да самъ большой", теперь онъ вызываетъ къ жизни сѣрый образъ Евгенія, создаетъ „Мѣднаго Всадника"—трагедію сѣраго и далеко не романтическаго Петербурга. И подобно тому, какъ раньше онъ вкладывалъ въ уста яркаго Алеко свои

завѣтныя думы, такъ и теперь онъ заставляетъ Евгенія повторить въ буквальныхъ выраженіяхъ основной пунктъ своей собственной программы: хозяйка, покой, да щей горшокъ, да самъ большой.

Но почему же, все-таки, Пушкинъ остановился на фигурѣ жалкаго и невзрачнаго чиновника? Неужели же онъ не могъ найти „мѣщанина" болѣе яркаго и крѣпкаго? Здѣсь прежде всего должно отмѣтить, что при созданіи „Мѣднаго Всадника" Пушкинъ былъ гораздо болѣе затрудненъ въ выборѣ героя, чѣмъ тогда, когда онъ набрасывалъ „Цыганъ". Въ ту пору Пушкинъ могъ довольствоваться лишь блѣднымъ очеркомъ характера, отвлеченнымъ, оторваннымъ отъ опредѣленныхъ мѣстныхъ условій образомъ. Couleur locale требовался ему лишь въ обстановкѣ, самъ герой могъ быть отвлеченной схемой, безжизненнымъ носителемъ извѣстной суммы страстей, настроеній и мыслей. Благодаря этому *выборъ* героя не былъ затруднителенъ. Строго говоря, такого выбора, если подъ нимъ понимать эстетическое усвоеніе образовъ дѣйствительности, и не происходило. Все ограничивалось художественнымъ оживленіемъ опредѣленнаго психологическаго задавія. Въ процессѣ творчества рѣшалась опредѣленная задача безъ именованныхъ чиселъ и, въ силу этого, безъ вниманія къ фактическимъ условіямъ мѣста и времени.

Но совершенно иначе обстояло дѣло при созданіи „Мѣднаго Всадника". Великій мастеръ реализма не могъ уже удовлетвориться призрачной схемой: ему былъ необходимъ полный характеръ, конкретный образъ, и этотъ образъ онъ могъ усвоить только изъ чиновничьей среды. Въ самомъ дѣлѣ: мы уже видѣли, чѣмъ отличается Евгеній отъ провинціальныхъ, деревенскихъ героевъ Пушкина. Поставить на мѣсто Евгенія одного изъ нихъ значило для поэта либо исказить эмоціональный и идейный обликъ этихъ послѣднихъ, либо измѣнить самую тему произведенія. Съ другой стороны, и интеллигенція едва ли могла снабдить его нужнымъ матеріаломъ.

Въ тридцатыхъ годахъ люди алекинскаго склада уже отходили въ область прошлаго, замѣняясь интеллигентами совсѣмъ иного направленія: „лишними людьми". „Просвѣщенный эгоизмъ" дореволюціонной эпохи исчезъ; онъ уже не облекался удачной прихотью, а, беззастѣнчивый и откровенный, парадировалъ на общественной аренѣ, щеголяя своимъ невѣжествомъ и слѣпымъ исполненіемъ воли грознаго начальства. Съ „индивидуалистическими" настроеніями дѣйствительной жизни случилось то же самое, что и съ литературнымъ героемъ поэта и его собственными переживаніями. Они перемѣстились въ иныя общественныя группы и соотвѣтственно этому сами потускнѣли и облиняли.

Пушкинъ, со своимъ геніальнымъ художественнымъ тактомъ, безсознательно учелъ этотъ фактъ и остановилъ свой выборъ на мелкомъ петербургскомъ чиновникѣ. Только здѣсь, въ этой свободной отъ всякихъ культурно-бытовыхъ традицій, искусственно, указами созданной средѣ скромныхъ и сѣрыхъ людишекъ, могъ укрыться тотъ бытовой индивидуализмъ, мотивы котораго онъ находилъ въ себѣ самомъ. Онъ первый приподнялъ завѣсу надъ жизнью этого особаго „класса" или „сословія" и показалъ, какія богатыя возможности скрываются въ его самосознаніи именно потому, что оно оторвано отъ родного, вѣкового преданія и свободно отъ всякихъ предразсудковъ старины и подлинной культуры мысли. И что художественное чутье не обмануло его,—это подтверждается фактами дальнѣйшей исторіи литературы: нѣкоторыми произведеніями Гоголя и Достоевскаго, гдѣ нашла свое выраженіе драма чиновничьей души.

Конечно, даже и тутъ онъ могъ остановиться на болѣе крупной фигурѣ. И, если этого все-таки не случилось, то невольно возникаетъ вопросъ: не имѣемъ ли мы и здѣсь дѣло съ тѣмъ же фактомъ, какъ и при созданіи „Цыганъ"? Бѣлинскій замѣтилъ, что „желая создать апоѳеозу Алеко", Пушкинъ создалъ въ „Цыганахъ" каррикатуру на него. Быть можетъ,

то же безсознательное, невольное умаленіе личности героя имѣло мѣсто и въ „Мѣдномъ Всадникѣ“. Опредѣленное антииндивидуалистическое настроеніе настолько овладѣло поэтомъ въ процессѣ творчества, что онъ, самъ того не замѣчая, унизилъ и слегка окаррикатурилъ своего героя.

Какъ бы тамъ ни было, но послѣ всего вышесказаннаго не подлежитъ сомнѣнію, что въ драмѣ Евгенія Пушкинъ вновь поставилъ на обсужденіе проблему эгоистическаго счастья личности, и намъ остается теперь посмотрѣть, какъ онъ разрѣшилъ ее.

Мы уже знаемъ, каковъ былъ исходъ степной идилліи Алеко. Но такъ же кончилась и петербургская идиллія Евгенія. Тамъ стихійная страсть Земфиры, здѣсь мощь разъяренныхъ стихій разрушили картинный домикъ личнаго блаженства. Эгоистическое наслажденіе жизнью не можетъ быть хоть сколько-нибудь прочно. Враждебныя ему, роковыя силы не медлятъ въ нападеніи на самую неприступно-огражденную крѣпость счастливца и такъ или иначе доканаютъ его. И всюду страсти роковыя и отъ судебъ защиты нѣтъ—этотъ итогъ „Цыганъ“, по крайней мѣрѣ, въ своемъ второмъ утвержденіи, смѣло могъ быть поставленъ и подъ первой частью „Мѣднаго Всадника“.

Въ самомъ дѣлѣ: Евгеній даже не успѣлъ приняться за осуществленіе своихъ плановъ, какъ разразившееся внезапно наводненіе уничтожило всѣ его надежды. Оглушенный, растерявшійся, „страшно блѣдный“, онъ замеръ передъ ужасной картиной:

Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижно были. Словно горы
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и злились.
Тамъ буря выла, тамъ носились
Обломки... Боже, Боже! Тамъ—

Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива,
Заборъ некрашенный, да ива
И ветхій домикъ: тамъ онѣ,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... *Или во снѣ*
Онъ это видитъ? Иль вся наша
И жизнь—ничто, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?
И онъ какъ будто околдованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,
Сойти не можетъ! *Вкругъ него*
Вода и больше ничего.

(IV, 255, курс. нашъ).

Въ этомъ потрясающемъ видѣніи—центръ и начало всей пьесы. Да, вотъ оно — итоговое созерцаніе эгоцентризма: жизнь какъ безсмысленное, ужасное по своей нелѣпости наводненіе. Человѣкъ забылъ объ объективныхъ цѣляхъ всеобщаго бытія, свое крохотное счастье, свою маленькую радость и наслажденіе онъ сдѣлалъ цѣлью всего совершающагося, и теперь онъ стоитъ, „оглушенный шумомъ внутренней тревоги“, передъ бушующимъ океаномъ жизни, гдѣ плывутъ „обломки“ его мечтаній и надеждъ. „Вкругъ него вода—и больше ничего“, и въ этой водѣ въ дикомъ безпорядкѣ, въ чудовищномъ смѣшеніи несутся передъ нимъ „обломки хижинъ, бревна, кровли, товаръ запасливой торговли, пожитки блѣдной нищеты, грозой снесенные мосты, гробы съ размытаго кладбища“... Всюду полный хаосъ, полное разрушеніе, среди этого хаоса и разрушенія, подъ вой вѣтра и шумъ пѣнящихся волнъ, въ человѣкѣ рождается безумное желаніе сбросить съ себя оковы разумности и слиться съ безудержной вакханаліей стихій, самому сдѣлаться сильнымъ и вольнымъ, „какъ вихорь, роющій поля, ломающій лѣса“. Именно здѣсь, въ этомъ созер-

цаніи жизни, какъ дикаго и нелѣпаго, безсмысленно-жестокаго въ своей ярости, могучаго потока кроются источники той странной любви къ безумію и гибели, которая нашла свое выраженіе въ пѣснѣ Вальсингама „объ упоеніи въ бою и бездны мрачной на краю, и въ разъяренномъ океанѣ средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы, и въ аравійскомъ ураганѣ, и въ дуновеніи чумы". Потому что основа этихъ переживаній въ отчаяніи безъ предѣла, въ воспріятіи міра, какъ великаго хаоса, гдѣ нѣтъ ни разумности, ни стройности, ни небесной гармоніи. А что, какъ не такое отчаяніе, какъ не послѣднее непріятіе міра звучитъ въ вопросѣ Евгенія,—основномъ вопросѣ пессимистическаго воззрѣнія, придающемъ такое несомнѣнное универсальное значеніе всему созерцанію жалкаго чиновника:

Иль вся наша
И жизнь—ничто, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?

Къ этому вопросу Пушкинъ подходилъ не разъ въ своей жизни, потому что это неизбѣжный выводъ изъ созерцанія міра подъ знакомъ человѣческаго блага. Онъ поставилъ его въ „Цыганахъ", въ цѣломъ циклѣ прекрасныхъ стихотвореній, и теперь онъ устами Евгенія снова бросаетъ его, словно вызовъ всему окружающему. Евгеній ждетъ отвѣта, но откуда же онъ можетъ получить его? Подъ нимъ бушующія волны, гдѣ среди пѣны несутся обломки, надъ нимъ сѣрое, застланное тучами петербургское небо, пустое и страшное небо атеистической души. Да, кто отвѣтитъ ему, вопрошающему?..

И обращенъ къ нему спиною,
Въ неколебимой вышинѣ,
Надъ возмущенною Невою
Стоитъ съ простертою рукою
Кумиръ на бронзовомъ конѣ.

Здѣсь отвѣтъ, но Евгеній не можетъ понять его и сходитъ съ ума. Этимъ кончается первая часть драмы.

VII.

Каково же содержаніе этого отвѣта, каково, иными словами, значеніе второго символа поэмы—Мѣднаго Всадника?

Уже самый образъ: не конкретная личность, не историческая фигура, но „кумиръ на бронзовомъ конѣ“ указываетъ, что здѣсь налицо извѣстное отвлеченіе, выдѣленіе опредѣленной суммы качествъ изъ живого и многообразнаго явленія. Не самъ Петръ, но часть его большая, какой то Мѣдный Всадникъ оживленъ въ поэмѣ, и, согласно этому, все изображеніе его строго выдержано въ особыхъ тонахъ.

„Во всѣхъ сценахъ повѣсти, гдѣ является Мѣдный всадникъ,—говоритъ Валер. Брюсовъ,—изображенъ онъ какъ существо высшее, не знающее себѣ ничего равнаго. На своемъ бронзовомъ конѣ, онъ всегда стоитъ въ вышинѣ; онъ одинъ остается спокойнымъ въ часъ всеобщаго бѣдствія, когда кругомъ „все опустѣло“, „все побѣжало“, все „въ трепетѣ“... Говоря объ этомъ кумирѣ, высящемся надъ огражденной скалой, Пушкинъ, всегда столь сдержанный, не останавливается передъ самыми смѣлыми эпитетами: это — и „властелинъ Судьбы“, и „державецъ полуміра“, и (въ черновыхъ наброскахъ) „страшный Царь“, и „мощный Царь“, „мужъ Судьбы“, „владыка полуміра“ [1]).

Этими смѣлыми эпитетами Пушкинъ поднимаетъ Всадника на неколебимую вышину. Онъ отвлекаетъ отъ историческаго Петра какіе-то поразившіе его признаки и придаетъ имъ необыкновенную, сверхъестественную мощь, благодаря чему русскій императоръ—„человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ“ перестаетъ быть человѣкомъ, а становится воплощеніемъ могучаго безличнаго начала.

Критики расходятся въ опредѣленіи этого начала точно также или соотвѣтственно тому, какъ они не соглашаются въ характеристикѣ Евгенія. Для однихъ: Всадникъ—вопло-

[1]) Венгер., III, 460.

щеніе героизма, человѣкобогъ, для другихъ—историческая необходимость, для третьихъ—самодержавіе.

Мы остановимся на этомъ послѣднемъ мнѣніи, такъ какъ въ настоящее время оно получило неожиданное подкрѣпленіе въ статьяхъ проф. Третьяка и Вал. Брюсова. Подчеркивая то обстоятельство, что „Пушкинъ всегда видѣлъ въ Петрѣ и крайнее проявленіе самовластія, граничащее съ деспотизмомъ", что „въ „Мѣдномъ Всаднике", тѣ же черты, мощи и самовластія, доведены до послѣднихъ предѣловъ", Брюсовъ указываетъ далѣе, что, заставляя Всадника, неколебимаго передъ стихійнымъ бѣдствіемъ, покинуть свою скалу изъ-за бунта ничтожнаго чиновника, поэтъ тѣмъ самымъ какъ бы говоритъ: „Да, я не вѣрю больше въ борьбу съ деспотизмомъ силами стихійнаго мятежа; я вижу всю его безплодность. Но я не измѣнилъ высокимъ идеаламъ свободы. Я, попрежнему, увѣренъ, что не вѣченъ кумиръ съ мѣдною главою, какъ ни ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ, какъ ни вознесенъ онъ „въ неколебимой вышинѣ". Свобода возникнетъ въ глубинахъ человѣческаго духа, и „огражденная скала" должна будетъ опустѣть". Еще проще, примитивнѣе формула проф. Третьяка: „Мѣдный всадникъ" есть отвѣтъ на вызовъ Мицкевича. „Этотъ отвѣтъ приблизительно таковъ: „Правда, я былъ и остаюсь провозвѣстникомъ свободы, врагомъ тиранніи, но не явился ли бы я сумасшедшимъ, выступая на открытую борьбу съ послѣдней? Желая жить въ Россіи, необходимо подчиниться всемогущей идеѣ государства, иначе она будетъ преслѣдовать меня, какъ безумнаго Евгенія" [1]). Не трудно, однако, замѣтить, что обѣ эти формулы далеко не полны и потому страдаютъ нѣкоторой сбивчивостью. Такъ, напримѣръ, Третьякъ свой проектъ пушкинскаго отвѣта начинаетъ съ заявленія: „я провозвѣстникъ свободы и врагъ

[1]) Не имѣя подъ руками подлинника, цитируемъ по реферату г. Браиловскаго, на котораго и возлагаемъ отвѣтственность за точность въ передачѣ этой формулы. „Пушкинъ и его совр.", VII, 101.

тиранніи", а кончаетъ признаніемъ необходимости подчиниться *„всемогущей идеѣ государства"*. Выходитъ такъ, будто Пушкинъ возставалъ во имя свободы не противъ деспотизма, а противъ государственности. Безсознательно проф. Третьякъ подмѣнилъ свою первоначальную антитезу: личность—деспотизмъ гораздо болѣе широкой: личность—государство.

Но если проф. Третьякъ безсознательно расширилъ тему, то Вал. Брюсовъ въ своей окончательной формулировкѣ сузилъ ее до крайности: онъ началъ съ указанія на то, что Пушкинъ неоднократно задумывался надъ *значеніемъ* самодержавія и Петра для Россіи, и очень тонко объяснилъ съ этой точки зрѣнія нѣкоторыя мѣста поэмы, а кончилъ формулой: бунтъ противъ деспотизма.

Причина этой неясности обѣихъ статей, на нашъ взглядъ, заключается въ недостаточной опредѣленности основного понятія. Самодержавіе есть лишь извѣстная форма для активнаго проявленія государственной воли, форма, которая можетъ быть наполнена самымъ различнымъ содержаніемъ. Самодержецъ можетъ быть деспотомъ, самодуромъ, если угодно, цесаремъ, обожествляющимъ своего я и его влеченіе, и онъ же можетъ быть реформаторомъ, чудотворцемъ, исполнителемъ великой исторической миссіи. И, какъ только мы формулируемъ вопросъ такимъ образомъ, то становится совершенно ясно — хотя бы изъ статьи Брюсова, — что Пушкинъ въ Мѣдномъ Всаднике олицетворялъ не только чисто-политическій принципъ, но и опредѣленныя положительныя черты русскаго государя, оцѣниваемыя въ исторической перспективѣ.

Мы уже видѣли, что Пушкинъ строго отличалъ въ историческомъ дѣятелѣ личныя, случайныя качества отъ стремленій и заслугъ, объективно цѣнныхъ. Такъ судилъ онъ въ „19-омъ октября" Александра I-го, такъ судилъ онъ себя самого въ „Памятникѣ", такъ судилъ онъ и Петра въ замѣткѣ, которую мы процитируемъ еще разъ:

„Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности, или, по крайней мѣрѣ, для будущаго,—вторые вырвались у нетерпѣливаго самовластнаго помѣщика" (VII, 600).

Тутъ въ удивительно мѣткихъ и точныхъ выраженіяхъ очерчено то противорѣчіе въ личности Петра, которое Пушкинъ сразу же почувствовалъ и которое мучило его въ процессѣ творчества. Передъ нимъ всегда стояли два Петра: одинъ—великій реформаторъ, спасшій Россію надъ бездной (такъ прекрасно объясняетъ Брюсовъ строфу: „О, мощный властелинъ судьбы! Не такъ ли ты надъ самой бездной, на высотѣ, уздой желѣзной Россію поднялъ на дыбы!?"), другой—самодуръ, который пишетъ свои указы кнутомъ на спинахъ подданныхъ. И чѣмъ больше поэтъ углублялся въ историческія изученія, тѣмъ ярче и глубже становилась эта двуликость великаго императора. Сквозь призму своего установившагося воззрѣнія на Петра I Пушкинъ видѣлъ или думалъ, что видитъ, двойное лицо: геніальнаго создателя государства и старый восточный типъ „бича Божія". Пушкинъ такъ и умеръ, не достигши синтеза, не изобразивъ историческаго Петра. Анненковъ предполагаетъ, что его смущали цензурныя соображенія, но намъ думается, что у Пушкина прямо могло не хватить творческихъ силъ для выполненія этой колоссальной задачи. Но, если онъ не былъ въ состояніи дать художественное воплощеніе „двуликаго" Петра, то онъ могъ обрисовать и обрисовалъ въ Мѣдномъ Всаднике одинъ изъ его ликовъ. Именно съ художественной точки зрѣнія мысль воспользоваться Фальконетовой статуей слѣдуетъ признать геніально удачной. Вмѣсто того, чтобы односторонне изображать конкретную историческую фигуру, подкрашивать или чернить живой образъ и тѣмъ создавать не

свободное отъ предвзятости и тенденціи историческое произведеніе, Пушкинъ оживилъ „кумиръ на бронзовомъ конѣ“, въ которомъ нѣкоторая отвлеченность и символичность были даны a priori. Благодаря этому самый процессъ творчества остался вполнѣ свободнымъ: поэту не надо было исправлять созидая, но изображать исправленное.

Какой же ликъ Петра воплощенъ въ Мѣдномъ Всадникѣ? Кто это такой: тотъ ли, кто созидалъ „для вѣчности, или по крайней мѣрѣ исторіи“,—или тотъ, кто писалъ указы кнутомъ? „Человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ глиняной трубкой во рту“, „нетерпѣливый самовластный помѣщикъ“ или „мужъ Судьбы“, чудотворецъ, Великій Плотникъ? Фельдфебель на тяжеловозѣ [1]) или же... или „Мѣдный Всадникъ“?

Отвѣтъ, строго говоря, заключается въ самомъ вопросѣ. Человѣкъ въ зеленомъ кафтанѣ не можетъ быть символизированъ въ твореніи Фальконета. Это была бы нестерпимая ложь, ложь преступная, потому что самый памятникъ такое великое художественное произведеніе, что исказить его или воспользоваться имъ для выраженія иныхъ идей, чѣмъ тѣ, которыя вложилъ въ него строитель, было бы непростительнымъ преступленіемъ.

И поэтъ не пошелъ противъ ваятеля. Не самодержецъ, не божественный кесарь, но чудотворный строитель Петербурга, зачинатель петербургскаго періода русской исторіи выведенъ въ поэмѣ. На него возложена отвѣтственность за возникновеніе новой столицы, онъ виновникъ всѣхъ бѣдствій, вызванныхъ этимъ событіемъ, въ немъ олицетворена та историческая сила, которая ввела Россію въ круговоротъ европейской жизни, словно „спущенный корабль,

[1]) Очень любопытно отмѣтить здѣсь мнѣніе о Николаѣ I, которое Пушкинъ занесъ въ дневникъ и едва ли не самъ высказалъ: „Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand“. Опредѣленіе дѣйствительно мѣткое и очень хорошо формулирующее два „начала“ (VI, 562, отъ 21 V 1834 г.).

при стукѣ топора и громѣ пушекъ". Такимъ онъ изображенъ во Вступленіи, такимъ онъ присутствуетъ при возмущеніи стихіи, такъ — и это всего важнѣе — понимаетъ его Евгеній. Вѣдь и Евгеній возстаетъ противъ царя не за его самодержавіе, не за его „крутой и кровавый переворотъ", впрочемъ, благодѣтельный и плодотворный какъ для Россіи, такъ и для человѣчества. Онъ ненавидитъ *строителя Петербурга*, того, кто такъ опредѣленно обрисованъ во Вступленіи. И всѣ тѣ смѣлые эпитеты, которые примѣнилъ Пушкинъ къ своему Мѣдному Всаднику: „мощный властелинъ Судьбы", „мужъ Судьбы", „владыка полуміра" преслѣдуютъ одну цѣль: представить Петра рѣшителемъ историческаго движенія, чтобы и читатель, подобно Евгенію, почувствовалъ въ немъ повелителя рока, несущаго на себѣ всю отвѣтственность за безличный историческій процессъ.

Самодержавная власть, какъ признакъ Мѣднаго Всадника, нужна была поэту лишь потому, что она обусловила колоссальный размахъ воли чудотворца, и что только благодаря ей Петръ могъ быть названъ Властителемъ Судьбы безъ нарушенія внутренней правды поэмы.

Такимъ образомъ, и Пушкинъ и Евгеній видятъ въ Петрѣ по преимуществу создателя Петербурга, историческую силу. Пока они не расходятся между собой: образъ великаго преобразователя, возсозданный въ поэмѣ самимъ Пушкинымъ, тождественъ съ тѣмъ образомъ, который носитъ въ своей груди Евгеній. И тутъ и тамъ это, прежде всего, вершитель исторіи. Но остаются ли они единодушными и въ дальнѣйшей оцѣнкѣ Мѣднаго Всадника? Проклинаетъ ли поэтъ Петра за созданіе Петербурга точно такъ же, какъ Евгеній, или нѣтъ? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ Вступленіе. Слѣдуя за сатирой Мицкевича, поэтъ шагъ за шагомъ противопоставляетъ его насмѣшливому „нѣтъ" свое восторженное „да", создавая въ результатѣ „апоѳеозу Петра Великаго, самую смѣлую, самую грандіозную, какая только могла придти въ голову поэту,

вполнѣ достойному быть пѣвцомъ великаго преобразователя Россіи" (Бѣлинскій). Но этимъ диѳирамбомъ Пушкинъ отвѣчалъ не одному Мицкевичу, но и себѣ самому, своему Евгенію. Сравните то, что видѣлъ Евгеній, съ яркой картиной Вступленія, и передъ вами окажутся два совершенно различныхъ созерцанія жизни. Съ одной стороны, жалкій чиновникъ, ограничившій свой кругозоръ видѣніями маленькаго личнаго счастья, стоитъ растерянный, передъ бурнымъ хаосомъ, съ другой—историкъ, проникновенно взирающій въ глубь вѣковъ, созерцаетъ цѣлесообразный и плодотворный процессъ строительства государственной и народной жизни. Тамъ впечатлѣніе безсмысленности, слѣпой произвольности, нелѣпости, здѣсь—разумности, стройности и необходимости. Тамъ *„строитель"* — безобразный тиранъ, свирѣпый деспотъ, онъ — здѣсь мощный властелинъ судьбы, спасшій Россію надъ бездной.

На чемъ же покоится эта противоположность созерцаній и оцѣнокъ? Очевидно, что на различіи исходныхъ точекъ зрѣнія. Только отрѣшившись отъ человѣческой мѣры, признавъ объективно-историческіе критеріи, можно постичь внутренній смыслъ Петровскаго переворота. Петербургъ, погубившій личное счастье Евгенія, нуженъ для славы націи, для торжества просвѣщенія, для мощи государства. И пока человѣкъ не признаетъ ничего, кромѣ своего счастья, онъ не можетъ оцѣнить Мѣднаго Всадника, а Мѣдный Всадникъ, съ своей стороны, не можетъ не наносить ему ударъ за ударомъ, потому что его цѣль—не индивидуальное благо, а осуществленіе высшихъ цѣнностей.

„Смирися, гордый человѣкъ"—вотъ тотъ отвѣтъ, который могъ услышать Евгеній изъ устъ Мѣднаго Всадника и который услышалъ Бѣлинскій:

„Мы понимаемъ смущенной душою,—пишетъ онъ,—что не произволъ, а разумная воля олицетворены въ этомъ Мѣдномъ Всадникѣ, который съ неколебимой вышины, съ

распростертою рукою, какъ бы любуется городомъ. *И намъ чудится*, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мѣдныхъ устъ исходитъ творящее „да будетъ"! а простертая рука гордо повелѣваетъ утихнуть разъяреннымъ стихіямъ... *И смиреннымъ сердцемъ признаемъ* мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... *При взглядѣ на Великана*, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія и какъ бы символически осуществляющаго собою несокрушимость его творенія,—*мы, хотя и не безъ содроганія сердца, но сознаемся,* что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обезпечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядъ на насъ есть уже его оправданіе..." (курсивъ нашъ).

Мы нарочно привели эту длинную цитату, потому что здѣсь рѣчь идетъ не о *мнѣніяхъ* Бѣлинскаго, связанныхъ съ его личнымъ міровоззрѣніемъ, а о томъ *впечатлѣніи*, которое онъ получилъ отъ созерцанія Мѣднаго Всадника въ поэмѣ Пушкина. Это свидѣтельство чрезвычайно важно: если принципіальныя оцѣнки Бѣлинскаго едва ли могутъ быть авторитетными для настоящаго времени, то точность его прямого воспріятія почти безспорна.

Евгеній не могъ „смиреннымъ сердцемъ признать торжество общаго надъ частнымъ", потому что въ его сердцѣ не было подлиннаго смиренія: онъ не понималъ, что, кромѣ его личнаго блага, есть еще нѣчто такое, ради чего это благо должно быть принесено въ жертву. И съ этой точки зрѣнія для него Мѣдный Всадникъ оказался такой же нелѣпой и безсмысленной силой, какъ и разъяренныя стихіи, съ той только разницей, что на него падала отвѣтственность за всѣ несчастья.

И въ то время, какъ самъ поэтъ, сумѣвшій подняться до незаинтересованнаго созерцанія внутренней объективной цѣ-

лесообразности историческаго событія, создаетъ во Вступленіи полную ясной радости картину возникающей „изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ“ новой Россіи, Евгеній въ концѣ поэмы шлетъ проклятіе этой Россіи въ лицѣ ея творца — Мѣднаго Всадника.

Это составляетъ вторую часть драмы, еще болѣе символическую, чѣмъ первая. Въ ней Мѣдный Всадникъ окончательно облекается фантастической пеленой и возвеличеніе достигаетъ своего апогея въ знаменитомъ описаніи:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О мощный властелинъ Судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію поднялъ на дыбы?

И когда эта колоссальная фигура, „мгновенно гнѣвомъ возгоря“, обращаетъ тихонько свое лицо къ злобно дрожащему Евгенію и несется за нимъ на звонко скачущемъ конѣ, то мы чувствуемъ, что эта высоко-драматическая сцена имѣетъ какое-то огромное символическое значеніе.

Г. Третьякъ безхитростно думаетъ, что здѣсь Пушкинъ выразилъ сознаніе невозможности бороться съ самодержавіемъ въ Россіи. Вал. Брюсовъ, не безъ вліянія Д. Мережковскаго, объясняетъ этотъ моментъ поэмы гораздо замысловатѣе. Тутъ онъ видитъ въ нѣкоторомъ родѣ даже торжество бѣднаго чиновника. Кумиръ на бронзовомъ конѣ оставался неколебимъ и спокоенъ при возмущеніи стихій, но онъ встрепенулся, какъ только до него долетѣлъ злобный шепотъ Евгенія. Такъ и должно быть: стихійный мятежъ ничего не можетъ сдѣлать противъ самодержавія, но „свобода воз-

никнетъ въ глубинахъ человѣческаго духа и „огражденная скала“ должна будетъ опустѣть“.

Однако, такое объясненіе, помимо своей внутренней сбивчивости, не можетъ быть принято еще и потому, что оно идетъ въ разрѣзъ съ общимъ тономъ поэмы и ея финала, съ ясно выраженнымъ сознаніемъ безнадежности и безумія попытки Евгенія возмутиться. Если поддерживать точку зрѣнія Евгенія, то поэма не можетъ возбудить никакой надежды на побѣду надъ Мѣднымъ Всадникомъ, но, напротивъ, поселяетъ въ душѣ отчаяніе и ужасъ.

Вѣдь и самъ бѣдный Евгеній призналъ тщетность своей попытки:

И съ той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
Въ его лицѣ изображалось
Смятенье. Къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку,
Какъ бы его смиряя муку;
Картузъ изношенный снималъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ
И шелъ сторонкой.

Какое ужъ тутъ можетъ чудиться торжество свободы, которая возникнетъ „въ глубинѣ человѣческой души“, если самая робкая попытка къ протесту приводитъ къ еще болѣе худшему рабству?!

Г. Третьякъ ближе къ истинѣ, когда говоритъ о крайнемъ пессимизмѣ поэмы. Онъ только слишкомъ сужаетъ идею произведенія, желая сдѣлать изъ него исключительно оправданіе русскаго поэта передъ польскимъ. Не самодержца видитъ Евгеній въ Петрѣ, а чудотворнаго строителя. Онъ шлетъ свое проклятіе Властелину Судьбы, погубившему его счастье при созданіи новой Россіи. Его возстаніе — возстаніе эгоиста во имя личнаго блага противъ необходимаго объективно-цѣннаго историческаго процесса. И какъ только онъ

шепнулъ злобное слово бунта, тотчасъ ужасъ потрясъ его душу: за своей спиною онъ почувствовалъ грозное движеніе гиганта; спокойная ночь наполнилась какъ будто грома грохотаньемъ, и онъ кинулся бѣжать, слыша позади тяжелый топотъ настигающаго колосса.

Такъ и должно быть. Кто, замкнувшись въ узкомъ кругѣ личныхъ интересовъ, отвергъ подчиненіе своего „я“ высшему и взбунтовался противъ Судьбы, тотъ сразу же начинаетъ чувствовать за собою ея тяжелую поступь. Движеніе жизни, направленное къ осуществленію сверхъчеловѣчески-цѣннаго, представляется ему безобразнымъ водоворотомъ, гдѣ гибнетъ его мечта, а ея законъ, ея необходимость грознымъ привидѣніемъ, стремящимся его раздавить. Его уши наполняетъ чудовищный шумъ и звонъ совершающагося, хаосъ звуковъ, которые несутъ ему угрозы.

Этотъ безобразный ужасающій шумъ и звонъ напоминаетъ намъ другой шумъ и звонъ, который тоже слышалъ Пушкинъ, но Пушкинъ-пророкъ:

Моихъ ушей коснулся онъ,—
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ,
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.

Сравните два эти воспріятія шума и звона вселенной: ясное и стройное слуховое созерцаніе (именно *созерцаніе*) Пророка и безумную галлюцинацію Евгенія. Здѣсь — полярная противоположность двухъ міроощущеній, и основа ея въ различіи переживанія своего собственнаго я. Съ одной стороны, Пророкъ, томимый духовной жаждой, готовый на жертву, забывающій себя ради глагола о высшей волѣ, съ другой—ничтожный чиновникъ, сосредоточившійся на личномъ счастьѣ и отвергающій всякую иную цѣнность. И передъ однимъ—радостный образъ возникающей новой жизни,

картина вселенскаго бытія, передъ другимъ — бредовое видѣніе сумасшедшаго.

„Мѣдный Всадникъ", до извѣстной степени, итоговое произведеніе Пушкина. То пессимистическое, съ точки зрѣнія личнаго счастья, созерцаніе жизни, которое сопровождало поэта приблизительно съ 1823—24 года, фиксируясь въ цѣлый рядъ вопрошающихъ стихотвореній („Даръ напрасный, даръ случайный, жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?"—отъ 1828 г.; „Жизни мышья бѣготня, что тревожишь ты меня?"—отъ 1830 г.), перешло въ „Мѣдномъ Всадникѣ" въ открытое отрицаніе: „Иль вся наша и жизнь ничто, какъ сонъ пустой, насмѣшка рока надъ землей?" и въ бунтъ противъ этого насмѣшливаго рока. И соотвѣтственно этому и наводящій тоску „однозвучный жизни шумъ", „Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье" превратились въ ужасающій грохотъ тяжело-звонкаго скаканья гиганта. Здѣсь даже можно отмѣтить чрезвычайно любопытную эволюцію того слухового образа, который лежитъ въ основѣ знаменитой сцены поэмы и является отраженіемъ опредѣленнаго момента пессимистическаго настроенія.

Но наряду съ этимъ мрачнымъ воззрѣніемъ на жизнь, въ произведеніи дано и другое, при которомъ все укладывается въ стройную и полную глубокаго смысла картину, а кумиръ на бронзовомъ конѣ перестаетъ быть дикимъ тираномъ, губящимъ человѣческое счастье, а становится подлиннымъ чудотворнымъ строителемъ безъ всякихъ ковычекъ.

И въ этой двойственности освѣщенія пьесы кроется причина трудности ея истолкованія. Но мы уже видѣли, что эта двойственность красной нитью проходитъ черезъ цѣлый рядъ произведеній поэта. Она сквозитъ въ „Цыганахъ", гдѣ взгляды и настроенія Алеко и Стараго Цыгана постоянно перекрываютъ другъ друга, въ изображеніи народа въ „Борисѣ Годуновѣ", въ настроеніяхъ Ямбовъ и „Памятника", въ оцѣнкѣ Петра Великаго и пр. и пр. И всюду эта двойственность

говоритъ одно и то же: жизнь, разсматриваемая съ точки зрѣнія человѣческаго блага—ничто, какъ сонъ пустой, насмѣшка рока надъ землей; историческіе дѣятели: великій преобразователь, возстающій народъ — безсмысленны, жестоки и нелѣпы; необходимый выводъ изъ эгоцентрическаго міровоззрѣнія—непріятіе міра. Чтобы понять смыслъ и цѣнность совершающагося, нужно отречься отъ человѣческой мѣры, смиреннымъ сердцемъ признать торжество общаго надъ частнымъ, покориться судьбѣ во имя высшаго. Нужно очиститься самоотреченіемъ, и тогда міръ предстанетъ передъ человѣкомъ во всей своей гармоничной красотѣ. Процессъ жизни стремится къ объективнымъ цѣлямъ и, чтобы понять его, надо забыть о человѣческихъ цѣляхъ и отдаться безкорыстному созерцанію.

Эти идеи составляютъ внутреннее содержаніе и „Мѣднаго Всадника". Болѣе того, какъ разъ въ этой поэмѣ проблема поставлена въ своей наиболѣе чистой формѣ. Съ одной стороны, и главный герой изображенъ исключительно идеологомъ личнаго счастья, носителемъ эгоистической воли, безъ всякихъ украшеній въ благородно-индивидуалистическомъ жанрѣ,—съ другой стороны, и та сила, которой онъ противопоставленъ, то же опредѣлена совершенно недвусмысленно, какъ строгая историческая необходимость, олицетворенная въ чудотворномъ строителѣ. Въ Евгеніи нѣтъ ничего вызывающаго, ничего такого, за что онъ можетъ быть наказанъ съ точки зрѣнія бытовой морали,—въ „Мѣдномъ Всадникѣ" нѣтъ ни капли обычнаго морализма. Про бѣднаго чиновника никакъ нельзя сказать, что Богъ его покаралъ за какіе-нибудь грѣхи, вродѣ страстности Алеко или жестокаго лукавства цареубійцы,—о Властелинѣ судьбы нельзя предположить, чтобы онъ разыгрывалъ роль праведнаго судіи, карающаго порокъ и награждающаго добродѣтель. Одинъ гибнетъ исключительно какъ представитель человѣческаго начала, другой губитъ исключительно потому, что олицетво-

ряетъ объективный процессъ исторіи, не считающійся съ судьбой отдѣльныхъ особей. И благодаря этому поэма пріобрѣтаетъ особенно безнадежный характеръ: казалось, были приняты всѣ мѣры, чтобы не попасться навстрѣчу Мѣдному Всаднику, уберечься отъ рока, и все же ничего не вышло: премудрый пискарь все-таки попалъ въ бѣду.

Опредѣленности идеи и героевъ произведенія соотвѣтствуетъ концентрація его драматическаго дѣйствія: въ поэмѣ нѣтъ ничего лишняго, ни одного вставного эпизода; все вниманіе сосредоточено на двухъ герояхъ и ихъ встрѣчѣ. И въ этой чистотѣ драматизма поэмы—источникъ преобладающаго вліянія на читателя ея внутренняго символическаго значенія, а не внѣшняго содержанія. Введи, напримѣръ, Пушкинъ въ поэму описаніе гибели Параши, и впечатлѣніе отъ нея было бы совсѣмъ иное: она захватывала бы насъ своимъ бытовымъ трагизмомъ.

Такимъ образомъ, „Мѣдный Всадникъ“ входитъ въ циклъ тѣхъ произведеній поэта, въ которыя онъ вкладывалъ самыя мучительныя свои сомнѣнія и исканія. И въ постепенной эволюціи основныхъ образовъ этихъ произведеній: отъ Стараго Цыгана, слѣпо покорнаго слѣпой Судьбѣ, черезъ Пимена, представителя стихійнаго народнаго смиренномудрія, къ Мѣдному Всаднику, непосредственному олицетворенію объективно-цѣлесообразной исторической необходимости,—отъ романтическаго, безудержно-страстнаго Алеко къ скромному Евгенію въ постепенной смѣнѣ этихъ героевъ отражается личная эволюція Пушкина.

Глубоко ошибаются тѣ, кто думаетъ, что Пушкину несвойственно было олицетворять въ своихъ созданіяхъ такія отвлеченныя идеи, какъ „язычество“ и „христіанство“, или „историческая необходимость“ и „участь индивидуальностей“.

Можно говорить о томъ, что Пушкинъ вообще былъ мало способенъ къ отвлеченному мышленію, а тѣмъ болѣе къ художественному воплощенію абстрактныхъ идей, но утверждать, что чисто-политическая идея самодержавія была ближе и доступнѣе его пониманію, чѣмъ основныя идеи даже не философскаго, а просто общечеловѣческаго мышленія о мірѣ,—значитъ обнаруживать плохое пониманіе духовнаго облика поэта. Напротивъ, именно эти идеи занимали его гораздо болѣе, чѣмъ различныя политическія разсужденія. Достаточно, напримѣръ, сравнить его отвѣтъ Чаадаеву, про который г. Гершензонъ пишетъ, что „если бы изъ всего, созданнаго Пушкинымъ, до насъ дошло только письмо, написанное имъ по полученіи отъ Чаадаева оттиска статьи изъ „Телескопа“,—этихъ трехъ страницъ было бы достаточно, чтобы признать его замѣчательнѣйшимъ человѣкомъ тогдашней Россіи: такъ много въ нихъ ума, такъ высоко и пламенно дышащее въ нихъ чувство [1])“,— достаточно сравнить эти блестящія „три страницы“ съ дѣтскими размышленіями поэта на чисто-политическія темы, чтобы увидѣть, въ чемъ его сила и его слабость.

Мудрецу—Пушкину такія, какъ ихъ называетъ Вал. Брюсовъ, „отвлеченныя идеи“, какъ идея Судьбы, личнаго счастья, исторіи, народа, мірского суда, были гораздо ближе, чѣмъ тезисы въ стилѣ Монтескье. Здѣсь онъ, какъ и всякій геній, чувствовалъ себя въ своемъ собственномъ царствѣ, потому что все это входило въ кругъ его собственныхъ переживаній, въ кругъ его собственнаго міроощущенія.

И среди этихъ отвлеченностей идея Рока всегда особенно тревожила сердце поэта. Съ тѣхъ поръ, какъ въ слишкомъ греческой формулѣ „Цыганъ“: „и всюду страсти роковыя, и

[1]) Гершензонъ, „Чаадаевъ“, стр. 144.: Пушкинъ „сразу уловилъ самую сердцевину ученія Чаадаева—идею имманентнаго дѣйствія духа Божія въ исторіи человѣчества — и возражаетъ ему, становясь на его собственную точку зрѣнія“.

отъ судебъ защиты нѣтъ", — въ пессимистическомъ разочарованіи въ цѣнности жизни—онъ впервые *пережилъ и прочувствовалъ* сверхчеловѣческую необходимость всего совершающагося, роковой характеръ событій исторической и личной жизни, съ тѣхъ поръ, какъ онъ впервые (это было, вѣроятнѣе всего, въ Одессѣ) услышалъ за своей спиною тяжело-звонкое скаканье Мѣднаго Всадника,—стремленіе къ преодолѣнію боязни передъ Судьбой и чувство возмущенія противъ нея легло въ основу его дальнѣйшаго самовоспитанія. И своимъ геніальнымъ чутьемъ онъ вполнѣ правильно понялъ, что достичь этого примиренія съ Рокомъ, остановить преслѣдованіе Колосса можно только при отреченіи отъ себя самого во имя высшаго, черезъ освобожденіе отъ слишкомъ человѣческой мѣры въ оцѣнкахъ міра, что пріятіе міра можетъ совершиться подъ знакомъ объективно-цѣннаго.

Эту форму созерцанія дала ему исторія. Слѣпой и безсмысленный рокъ, съ которымъ нельзя помириться, замѣнился для него не Богомъ, таинственно царящимъ надъ міромъ или въ мірѣ, не внутренней разумностью космическаго цѣлаго, но цѣлесообразной необходимостью историческаго процесса. Пріятіе міра было дано ему не въ религіозномъ или натурфилософскомъ созерцаніи вселенной, но въ историческомъ воззрѣніи на жизнь человѣчества.

„Согласно тому, какъ меня учитъ самая сущность моей природы, все необходимое, созерцаемое съ высоты и въ смыслѣ великаго порядка, есть вмѣстѣ съ тѣмъ полезное. Должно не только сносить, но и любить его. Amor fati, любовь къ року глубочайшее начало моей природы"—говоритъ Ницше.

Къ этой-то любви къ року, достигаемой созерцаніемъ необходимаго съ высоты и въ смыслѣ великаго порядка, а не съ точки зрѣнія человѣческаго блага и стремился Пушкинъ, какъ только—въ пору созданія „Цыганъ" — онъ ощутилъ господство Судьбы надъ жизнью. Конечно, ему при-

шлось много бороться съ самимъ собою, и не всегда эта борьба бывала успѣшна. Топотъ Мѣднаго Всадника не переставалъ раздаваться за нимъ, то стихая и превращаясь въ „однозвучный жизни шумъ“, въ „Парки бабье лепетанье, сонной ночи трепетанье“, въ „жизни мышью бѣготню“, то снова разростаясь до грохотанья грома.

Но, тѣмъ не менѣе, не прервись такъ внезапно жизнь поэта, онъ пришелъ бы къ полной побѣдѣ, къ глубокому, ясному міровоззрѣнію гетевскаго склада, но исполненному оригинальнаго и чисто-русскаго содержанія. Въ этомъ насъ убѣждаютъ и все возростающая ясность въ постановкѣ основной проблемы, и попытки поэта къ конкретному „примиренію съ дѣйствительностью“ и главное — органическое развитіе его художественнаго таланта.

Любовь къ року была нужна не только самому поэту, но и его поэзіи, потому что лишь на почвѣ такого объективнаго пріятія міра его реалистическое творчество могло найти для себя соотвѣтствующій матеріалъ: неба содроганье, и горній ангеловъ полетъ, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье,—и необходимую свободу отношенія къ этому матеріалу.

И, достигнувъ послѣднихъ высотъ объективнаго созерцанія жизни, Пушкинъ въ то же время овладѣлъ бы вполнѣ сокровищемъ той „мудрой вечерней любви“ къ людямъ, которая уже сквозитъ въ сельскихъ сценахъ „Онѣгина“ и господствуетъ въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“ и „Капитанской дочкѣ“, той любви, о которой пророчествовалъ Достоевскій, говоря въ свѣтлую минуту о судьбѣ утратившаго вѣру человѣчества („Подростокъ“): „Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постоянно бы сознавали свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью“. „Пусть завтра послѣдній день мой,— но думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце,— все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти

ихъ“... „О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ, и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть“.

Борисъ Энгельгардтъ.

PG
3358
H5E64

[redacted]

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG
3358
H5E64

Engel'gardt, Boris Mikhailovich
Istorizm Pushkina